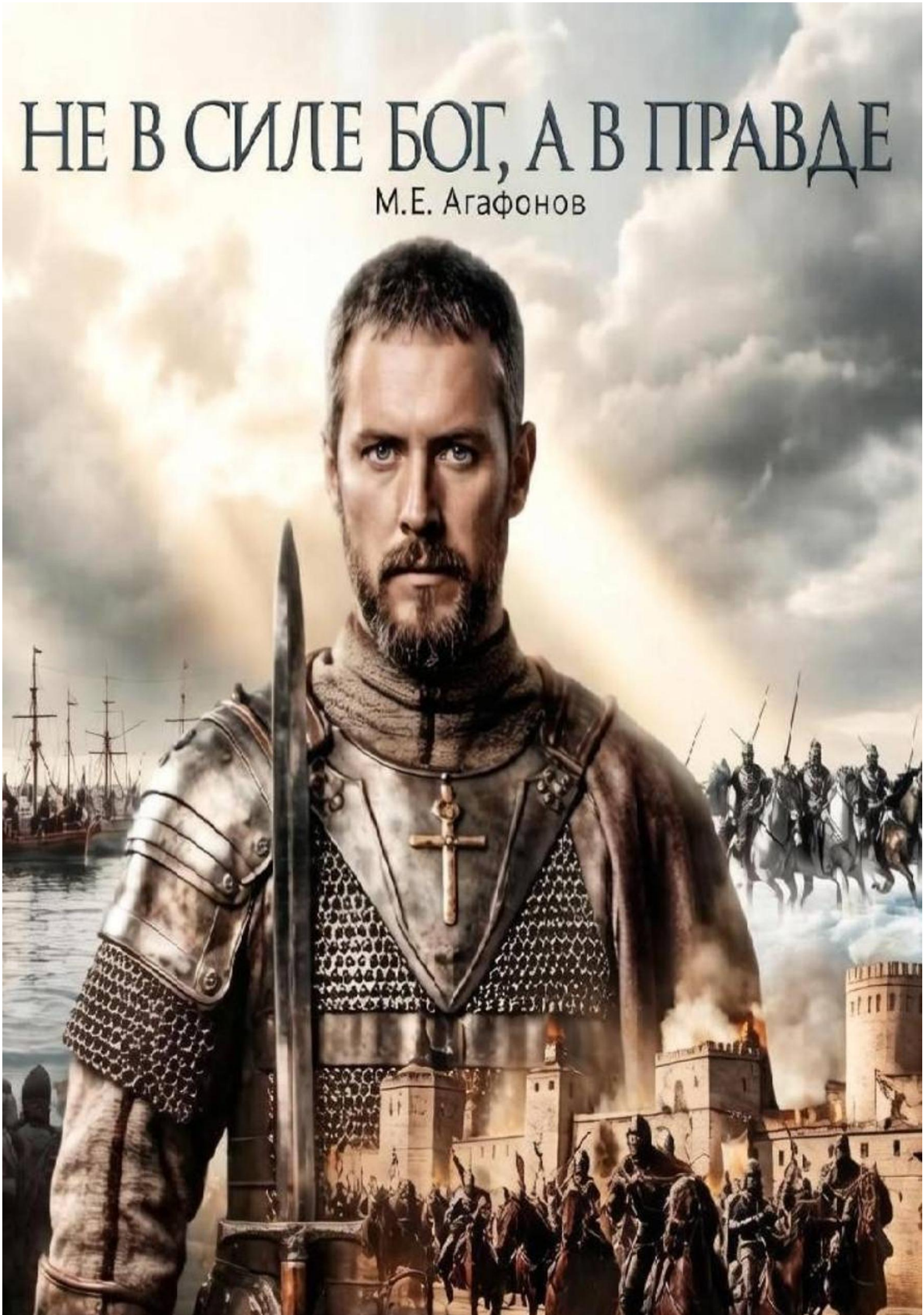
НЕ В СИЛЕ БОГ, А В ПРАВДЕ

М.Е. Агафонов



Михаил Агафонов

Не в силе Бог, а в правде

«Автор»
2026

Агафонов М.

Не в силе Бог, а в правде / М. Агафонов — «Автор», 2026

Новгород первой половины тринадцатого века не похож ни на один другой город Руси: вечевая площадь решает здесь больше, чем родство и даже сила меча. Семилетний Александр въезжает в этот город вместе со старшим братом Фёдором и оказывается в мире, где князя зовут по нужде и гонят без лишних церемоний, стоит ему перестать быть полезным. Он хочет укрепиться здесь настолько, чтобы со временем защитить всю Русь, стиснутую между шведскими и орденскими мечами с запада и неотвратимой тенью Орды с востока. Но вечевая вольница не терпит чужой власти дольше нужного, а посадник и боярские роды уже присматриваются к мальчику, прикидывая, насколько он управляем. Женитьба на полоцкой княжне, тревожные вести о шведских парусах в устье Невы, первая битва и первая рана — страна требует от подростка взрослых решений, пока бояре спорят, нужен ли им вообще князь. Риск очевиден: Новгород умеет забывать тех, кто перестал быть нужен. Как удержаться на столе в городе, который сам решает, кому на нём сидеть?

© Агафонов М., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Предисловие. 5
Глава 1. Чужой город 6
Глава 2. Наука отца 17
Глава 3. Первое слово князя 27
Конец ознакомительного фрагмента. 34

Не в силе Бог, а в правде

Предисловие.

Мне повезло родиться, вырасти и прожить большую часть своей жизни в Новгородской области СССР. Еще в дошкольные годы я уже знал про Новгородскую республику, князя Александра Невского, Невскую Битву, Ледовое побоище, вече, ушкуйников и еще много всего, относящегося к этому периоду истории моей малой родины.

Позже, в школе, я посмотрел фильм Сергея Эйзенштейна Александр Невский, оставивший множество впечатлений. Думаю любой человек в нашей стране знает знаменитую фразу из этого фильма: "Кто с мечем к нам придет.....". Помню свое разочарование, когда узнал, что Александр Невский таких слов не говорил.

Читал несколько художественных произведений про князя - от повестей, до коротких рассказов. Имя Александра Невского было гарантией, что произведения интересные.

Однако, доступная в то время информация, оставляла впечатление какой-то фрагментарности, недосказанности. Отдельные кусочки не складывались в полноценную картину жизни князя.

Еще позднее, в 90-е годы, появилось множество публикаций в духе альтернативной истории, о том, что Александр Невский в Золотой Орде братался с ханом Сартаком и планировал объединить Русь с Ордой в единое государство. Никаких доказательств, впрочем, не приводилось.

Затем, когда информация стала более доступной для простых людей, стало понятно, что самая ранняя летопись, в которой упоминается Александр Невский, датирована 1377 годом (Лаврентьевская летопись). То есть, она написана больше, чем через сто лет после смерти князя. В Ипатьевской летописи вообще нет упоминания о нем. Все исторические исследования, жизнеописания и хронологии основываются на таких скудных источниках, как переписанные через сотни лет после смерти князя, летописи в различных списках, причем, неизвестно насколько точно.

Прижизненного изображения Александра Невского не сохранилось и все известные изображения, в том числе на иконах, художественный вымысел авторов.

Детские ощущения о том, что полной и связной картины жизни Великого князя Александра Невского не существует, постоянно подталкивали меня к каким-то действиям. Появившиеся ближе к настоящему времени фильмы, книги и другие публикации совсем не исправили положение. Все они описывали какой-либо выделенный фрагмент жизни князя.

Таким образом, данная книга – это попытка нарисовать общую картину, понять движущие мотивы поступков и решений князя в непростых ситуациях.

Глава 1. Чужой город

Дорога тянется тринадцатый день, и тринадцатый день под полозьями возка хлюпает одна и та же каша из грязи и первого робкого снега, который не держится, а тает, едва коснувшись размешанной колеи. Колёса давно сняты — последние версты обоз идёт санным путём, хотя до настоящей зимы ещё далеко, и там, где снег не лёг, полозья скрипят по голой земле, цепляются, и возок кренится так, что Александр хватается за край овчины, чтобы не съехать к ногам брата.

Он сидит, укутанный до самого подбородка, и от овчины пахнет дымом и лошадиным потом — запах, который за эти дни стал привычнее материнских покоев в Переяславле. Отец снарядил их в путь ещё по первому заморозку, обещал, что к Новгороду ляжет крепкий снег и дорога станет легче, но осень в этом году упрямится, и обоз тащится медленнее, чем хотелось боярам.

Фёдор сидит рядом, но держится иначе — выпрямив спину, будто кто-то невидимый уже смотрит на него и оценивает, достоин ли он быть старшим. Ему десять, и этой разницы в два года ему хватает, чтобы смотреть на брата чуть свысока, хотя кутается он в такую же овчину и так же шмыгает носом от сырого ветра.

— Не вались на меня, — говорит он, не поворачивая головы. — Ты не маленький уже.

Александр не валится, но и не отодвигается — просто сидит, вцепившись в мех, и слушает, как впереди, в головном возке, бубнят голоса бояр-пестунов. Голоса эти давно стали частью дороги, как скрип полозьев и чавканье грязи под копытами: Александр то проваливается в полудрёму под них, то снова выныривает, ловя обрывки.

Якун Моисеевич, приставленный отцом стеречь обоих княжичей пуще глаза, говорит негромко, но так, что слышно даже сквозь полог — голос у него такой, что хоть кричи, хоть шепчи, всё одно звучит веско, будто на вече держит слово.

— Ты пойми, — говорит он спутнику, другому боярину, чьего имени Александр ещё не запомнил, — город этот не Переяславль и не Владимир. Там князь сел — и сидит, покуда жив или покуда отец не передвинет на другой стол. А тут иначе. Тут князя зовут — и тут же могут указать на ворота, едва он им встанет поперёк горла.

— Будто у них своей воли нет, чтобы без князя прожить, — хмыкает второй.

— Своей воли у них как раз в избытке, оттого и маются. Без меча да без суда правого им никак, а своего правителя растить боятся — передерутся же сами промеж себя тут же. Вот и берут со стороны. Берут — и держат, покуда полезен. А чуть что не по нраву — выпроводят, да ещё и спасибо не скажут.

Фёдор, слушавший вполуха, вдруг оживляется и хмурит светлые брови — у него от отца эта привычка, хмуриться вот так, будто уже взрослый.

— Кто ж посмеет указывать сыну Ярослава Переяславского на ворота? — говорит он громко, с той уверенностью, с какой говорят мальчики его лет, не знавшие ещё, что бывает иначе. — Пусть только попробуют.

Якун оборачивается — не вскидывается, не кричит, просто смотрит через плечо коротко и тяжело, и этого взгляда хватает, чтобы Фёдор примолк и уткнулся подбородком в воротник, будто вдруг стало холоднее.

— Новгород, — говорит Якун уже тише, обращаясь будто и не к Фёдору вовсе, а в пустоту дороги перед собой, — всякого сына всякого князя видал. И не раз указывал. Ты, княжич, пока поживи здесь — сам увидишь.

Александр слушает это, не вмешиваясь, — встревать в разговор взрослых ему пока не по чину, да и голос у него такой тонкий, что его скорее отмахнут, чем ответят. Но слово, прозвучавшее дважды за последние версты, засело в нём, как заноза под кожей, которую ещё не вытащили, а она уже саднит.

— А что такое вече? — спрашивает он наконец, не удержавшись, и голос его тонет в скрипе полозьев, так что приходится повторить громче.

Якун поворачивается — на этот раз без осуждения, но и без охоты объяснять.

— Вырастешь — узнаешь, — говорит он коротко и снова отворачивается к дороге, будто сказанного достаточно.

Фёдор фыркает рядом, то ли над братом, то ли над самим словом, и больше ничего не прибавляет. Александр хочет спросить ещё раз, но чувствует — не ответят, и это молчание злит сильнее, чем любой грубый отказ. Он запоминает слово так, как запоминают занозу: вече. Тяжёлое, как камень, брошенный в колодец, — звука падения не слышно, а круги расходятся долго.

Он ещё не знает, что через годы это слово станет для него роднее многих имён, что он будет слышать его в крике толпы на площади и в шёпоте бояр за плотно закрытой дверью, что оно будет решать, сидеть ли ему на столе или собирать пожитки затемно, не дожидаясь утра. Сейчас для него это просто чужое слово, холодное и колючее, как снег, падающий за ворот.

Он поворачивается к пологу возка, отодвигает край овчины и смотрит вперёд, туда, куда смотрит возница.

Поля тянутся мокрые, серые, без конца, а за ними, там, где небо сходится с землёй в одну тусклую полосу, встают стены — не каменные, как во Владимире, о котором рассказывал отец, а рубленые, из тёмного от сырости дерева, высокие, с частыми башнями, и над стенами — маковки церквей, целый лес их, больше, чем Александр видел за всю свою недолгую жизнь разом. Дым поднимается то тут, то там, низкий, прибитый сыростью к самым крышам, и весь этот город, огромный, незнакомый, чужой, стоит на горизонте, как нечто, что ждёт его — и вовсе не торопится встречать с распростёртыми объятиями.

— Вон он, — говорит Якун, не оборачиваясь, будто разговаривая с самой дорогой. — Новгород.

Александр смотрит, не отрываясь, и впервые за три дня пути ему становится по-настоящему зябко — не от ветра, не от сырости, забравшейся под овчину, а от самого вида этих стен, вставших над полем, как нечто живое, настороженное, что уже знает о его приезде и решает, принять его или нет.

Ворота встают близко, ближе, чем ожидал Александр, — рубленая башня над ними вздымается так, что он задирает голову и чуть не роняет шапку. Брёвна стены потемнели от дождей, замшели понизу, а сами ворота обиты железом так густо, что кажутся коваными насквозь. Под навесом башни стоит стража — трое, в коротких кожухах, с рогатинами, — и один из них, не глядя на возок с княжичами, пересчитывает возы обоза загрубевшим от холода голосом: раз, два, воз с рухлядью, воз с поклажей боярской, воз... Он не кланяется, не снимает шапки, только кивает кому-то позади себя, пропуская дальше, будто обоз — такой же товар, как рыба или воск, который везут на торг.

Александр ждёт, что их остановят, спросят, кто едет, — дома, в Переяславле, к отцовскому поезду всегда выходили навстречу, узнавали издали по стягу. Здесь стяга будто и не видят. Возок проезжает под аркой ворот, и на мгновение становится совсем темно и гулко, пахнет сырым деревом и дёгтем, а потом снова свет — но уже другой, городской, тесный между домами.

Улица под копытами коней стучит непривычно жёстко — не мягкая раскисшая дорога, а бревенчатый настил, плаха к плахе, и каждый шаг коня отдаётся коротким деревянным звуком, будто кто-то ровно вколачивает гвозди. Александр чувствует эту дробь через стенку возка, через собственные кости, и ему странно, что город может быть вымощен деревом так же, как мостят мосты.

По сторонам — лавки, навесы, люди. Торговка с корзиной рыбы оборачивается на обоз без всякого почтения, просто смотрит, как смотрят на проезжающий воз с товаром — не плохо ли уродился лён, не жирна ли рыба. Кузнец в прожжённом фартуке у распахнутых дверей кузни и вовсе не отрывается от дела, только скашивает глаз. Мальчишки, что гоняли по улице какую-то тряпку ногами, останавливаются на миг, провожают взглядом возок и бегут дальше по своим делам — будто важнее обоза с княжичами для них тряпичный мяч.

Никто не кланяется. Никто не снимает шапки.

— Ещё один, — бросает кто-то из толпы негромко, не зло, но и не ласково, и смех за этими словами короткий, сухой, как треск сучка в костре.

Александр не сразу понимает, про кого это, а потом понимает — про себя, про Фёдора, про весь этот поезд с боярами и пестунами, что тянется через город к детинцу. «Ещё один» — будто таких уже проезжало здесь без счёта, будто он не первый сын князя, въезжающий в эти ворота, и не последний.

Он вжимается плечом в плечо Фёдора, не нарочно, просто тело само ищет опоры, и брат от неожиданности дёргается, но не отстраняет его. Фёдор же, напротив, выпрямляется в возке так, что становится выше на целую голову, расправляет плечи, задирает подбородок — явно услышал тот же смех, что и Александр, и отвечает на него единственным доступным способом: держится с видом, будто весь город обязан встречать их колокольным звоном.

— Чего скалятся, — бормочет он себе под нос, не столько брату, сколько самому себе, для бодрости. — Князя везут, а они...

— Тихо, Фёдор Ярославич, — негромко говорит Якун Моисеевич со своего места, не оборачиваясь толком, только вполоборота, — здесь кричать не след. Здесь слушают больше, чем говорят сами.

Фёдор замолкает, но плечи держит всё так же прямо, напоказ, и Александр видит, как у брата от щёк отливает краска — то ли от холода, то ли от обиды, что их встретили не как встречают в Переяславле.

Александр молчит дольше, разглядывая улицу, людей, деревянные стены домов с резными наличниками, непохожие на переяславские, и чувствует внутри что-то мелкое и холодное, что ворочается под рёбрами, — не страх ещё, а предчувствие страха, как знобит перед настоящим ознобом. Он смотрит на эти лица — обычные, занятые своим, равнодушные к нему, восьмилетнему мальчику в возке, — и впервые в жизни понимает, что есть на свете место, где имя отца само по себе ничего не стоит.

Якун наклоняется немного к нему, понизив голос так, что слышно только Александру, не Фёдору, не остальным в поезде.

— Здесь, княжич, — говорит он, и в голосе его нет насмешки, только ровная, усталая правда человека, который это уже видел не раз, — хлебом-солью задаром не встречают. Здесь сперва присматриваются. Примеряют — впору ли.

— Примеряют, как сапоги? — спрашивает Александр, и сам удивляется, что голос у него звучит почти спокойно, хотя внутри всё ещё зябко.

Якун усмехается коротко, одними уголками губ, не оборачиваясь полностью.

— Вроде того, — говорит он. — Только сапог скинуть легче, чем князя.

Возок качается дальше по дощатому настилу, стуча колёсами, и за поворотом улицы открывается что-то широкое, людное, гомонящее — но туда Александр ещё не успевает толком заглянуть, потому что дорога ведёт прочь, в сторону детинца, а любопытные взгляды горожан продолжают провожать поезд так же, как провожали у ворот: без поклона, без почтения, просто оценивающе, будто меряют глазами — впору ли.

Дорога под полозьями выравнивается, тряска становится тягучей, однообразной, и веки сами тяжелеют — не от сна, а от того особого полузабытья, в которое впадает усталое тело,

пока голова ещё цепляется за мир снаружи. Голоса бояр за спиной стихают до ровного гула, похожего на шум воды, и в этом гуле Александру вдруг мерещится другой голос, тише и роднее.

Горница в Переяславле натоплена так, что от печи идёт сухой, сытный жар, и в этом жару плывёт запах воска — от свечей перед образами — и мёда, который матушкины сенные девки разливают по мисам для дорожного припаса. Александр не помнит, сколько ему тогда лет, может, пять, может, меньше, но помнит свет из слюдяного оконца, косой, жёлтый, и отца посреди горницы — не сидящего, не ходящего, а стоящего неподвижно, как редко бывает с отцом, в дорожном плаще поверх брони, тяжёлом, с меховой опушкой, ещё не застёгнутом на груди.

Дружина отца ждёт во дворе, лошади переступают, фыркают, роняют пар в холодный воздух, но здесь, в горнице, время будто остановилось для одного этого мгновения — отец присаживается на корточки перед ним, и от этого роста — полного, высокого роста Ярослава Переяславского — не остаётся ничего, он вдруг становится вровень с сыном, глаза в глаза, и Александр впервые видит отцовское лицо так близко, что замечает морщины у глаз, не от старости ещё, а от прищура на солнце и на снегу.

— Не хнычь, — говорит Ярослав Всеволодович тихо, без упрёка, так, как говорят о деле, не требующем крика. — Мужчина при расставании не плачет.

Александр, кажется, и не плакал тогда, но губы, видно, уже дрожали, потому что отец это сказал, упреждая, а не укоряя за свершившееся.

— А что делает? — спрашивает маленький Александр, и голос у него тонкий, детский, но вопрос — тот самый, какой он будет задавать всю жизнь, не понимая ещё, что задаёт его.

— Запоминает, — отвечает отец, — зачем расстаются.

И тут же, без перехода, не дав мальчику ни спросить снова, ни даже испугаться толком, берёт его руку — маленькую, тёплую, всю ещё в мягких детских складках — и прижимает ладонью к рукояти своего меча, висящего у пояса в простых, без лишнего узорочья, ножнах. Рукоять холодная, оплетённая кожей, уже вытертой до блеска в тех местах, где ложится хватка, и тяжесть её, чувствуется даже через отцову руку, недетская, не для забавы сделанная вещь, а вещь для убийства и для защиты одновременно, и Александр замирает тогда, не зная, гордиться этим прикосновением или бояться его.

— Это не игрушка, — говорит отец, будто отвечая на мысль, которую мальчик ещё не успел додумать. — Запомни её тяжесть. Другой такой не будет, пока сам не возьмёшь в руку.

Потом отец встаёт, плащ его падает ровными складками, и в памяти — уже не так ясно, уже сквозь полусон — всплывает другой обрывок, из другого дня, может быть, того же года, а может, и нет: отец в той же горнице, но без плаща, в одной рубахе, разговаривает с кем-то из старших дружинников, и голос у него не тот, что с сыном, суше, деловитее.

— Новгород кормит, да не любит, — говорит отец дружиннику, не замечая, что сын слышит из-за полога, где его уложили спать. — Хлеб с него возьмёшь, а поклона не жди. Этот город слушает князя, пока князь ему нужен, а чуть минует нужда — отворачивается, будто и не было ничего.

Дружинник что-то отвечает, Александр не слышит слов, только низкий гул голоса, но отцова фраза застревает в нём, непонятая тогда, лишняя, как камешек в сапоге, о который спотыкаешься, сам не зная отчего.

Возок вдруг подбрасывает на колдобине так резко, что голова Александра стукается о деревянный бок, и видение рассыпается, точно слюдяное оконце треснуло пополам: нет больше ни горницы, ни запаха воска, ни тёплой отцовой ладони поверх его руки на рукояти меча — есть только сырой новгородский воздух, скрип колёс по мёрзлой грязи и плечо Фёдора рядом, всё ещё напряжённо выпрямленное.

Александр трёт лоб, щурится на серое небо над чужими крышами, и только теперь, с опозданием, как это часто бывает с детскими воспоминаниями, понимает, о чём на самом деле

было то отцовское напутствие в тёплой горнице. Не о бое. Не о смерти, которая ждёт в походе. О сегодняшнем дне — о городе, который кормит, да не любит, о тяжести, которую не вручают даром и не держат без борьбы за неё.

Он смотрит вперёд, туда, где за спинами бояр уже видна приземистая громада детинца, и впервые отчётливо, не по-детски, чувствует: меч, который вложил ему в руку отец, был не единственной тяжестью, какую придётся учиться держать.

Городище открывается не сразу — сперва бревенчатый тын, потом ворота без резьбы, без украс, какие бывают при въезде в богатый двор, а там уже и само подворье: несколько рубленых изб, поварня с дымом, конюшня, посередине — палаты, повыше прочих строений, но всё равно приземистые, вросшие в землю, как будто им неловко стоять во весь рост. Обоз останавливается, и тишина после скрипа колёс кажется Александру чужой, настороженной — город здесь, а княжеский двор как будто вынесен за его края, отставлен в сторону, точно гостя посадили не за стол, а у порога.

Дворовые люди выходят встречать не спеша, без того суетливого радушия, которое Александр видел дома, в Переяславле, когда отец возвращался из похода. Кланяются — низко, как положено, — но лица у них пустые, будто кланялись уже много раз и многим, и в поклоне этом не осталось ничего, кроме привычки. Старик в войлочном колпаке, видно, здешний тиун, подходит к Якуну Моисеевичу, называет себя коротко, спрашивает про возы с поклажей — и ни слова про мальчиков, будто их и нет вовсе, будто приехали не князья, а обоз с мукой.

— Когда хоромы топили в последний раз? — спрашивает Якун, слезая с коня и разминая поясницу.

— Да уж с весны пустуют, — отвечает тиун ровно, без вины в голосе. — Как прежний князь съехал, так и стоят.

Александр не понимает ещё, что значит «съехал», но слово ложится тяжело, рядом с тем, другим, незнакомым — «вече», — и тоже просится в память.

В палатах пахнет нежильём: сырым деревом, остывшей золой, чем-то кисловатым, что бывает в запертых комнатах, куда давно не заходили живые люди. Печи топлены наспех, видно, что только сегодня, для приезда, и тепло от них едва цепляется за стены, не успевая выгнать застоявшийся дух. В углу горницы, куда заводят мальчиков, лежит забытая кем-то рукавица — чужая, не их, видно, оставшаяся от прежних хозяев, и Александр смотрит на неё дольше, чем следовало бы, будто в этой мятой тряпице больше правды о доме, в который его привезли, чем во всём остальном.

— Здесь будете спать, — говорит Якун, не оборачиваясь, уже на ходу раздавая распоряжения дворне: туда снести лари, там застелить лавки, печь в сенях протопить пожарче. Делает это буднично, без суеты, как человек, который расставлял уже не первых князей по не первым горницам и знает заранее: надолго ли — не ему решать и не ему гадать. — А дальше — поглядим.

Последние слова он роняет негромко, будто себе под нос, но Александр слышит и запоминает — ещё один камешек в тот же сапог.

Фёдор меж тем уже прошёл дальше, в соседнюю горницу, и ходит там хозяйским шагом, широко, будто меряет шагами собственный удел. Трогает резной подзор лавки, проводит пальцем по узору, кивает сам себе, точно одобряет работу мастера. Александр идёт следом, останавливается в дверях.

— Добрая работа, — говорит Фёдор, не оборачиваясь, голосом взрослее, чем ему на самом деле положено. — Отцовы хоромы попросторнее, а всё ж.

Александр молчит. Ему хочется сказать, что в отцовых хоромах пахло воском и свежим хлебом, а здесь — остывшей золой и чем-то, чему он не знает названия, но брат уже отошёл к окну, и спина у него прямая, слишком прямая для того, кто просто осматривает новое жильё.

— Тебе не кажется, что нас тут не ждали? — спрашивает Александр тихо.

Фёдор оборачивается резко, будто вопрос задел его сильнее, чем он хотел бы показать.

— Нас позвали, — говорит он твёрдо. — А позвали — значит, ждали. Это ведь Новгород зовёт князя, не князь просится.

Голос у него уверенный, но Александр уже слышал сегодня, как звучит настоящая уверенность — в голосе отца, когда тот говорил с дружинником за пологом, — и эта, братнина, другая, похожая на доспех, надетый наспех и не по росту.

За слюдяным оконцем, мутным и жёлтым, едва пропускающим свет, доносится далёкий гул — не то крик множества голосов разом, не то звон, не то что-то третье, чему Александр пока не может подобрать слова. Звук не грозный, но и не мирный — ровный, плотный, будто дышит не один человек, а целый город сразу.

— Что это? — спрашивает он, подходя к окну.

Фёдор прислушивается, хмурится, и в этот раз не торопится отвечать с привычной уверенностью.

— Торг, видно, — говорит он наконец, не слишком твёрдо.

Александр смотрит в мутное стекло, за которым ничего толком не разобрать, кроме размытых крыш и дымов, и думает, что звук этот не похож ни на один торг, который он слышал в Переяславле. В нём есть что-то другое — множество голосов, спорящих разом, каждый о своём, и ни один не желающий уступить, — и это чужое, тяжёлое гудение въедается в память крепче, чем запах нежилых палат, крепче, чем пустые поклоны дворни, крепче даже, чем забытая рукавица в углу горницы, которую теперь придётся называть своим домом.

Утро встречает Новгород мелким дождём, таким мелким, что он скорее висит в воздухе, чем падает, и овчина на плечах у Александра к полудню делается тяжёлой и сырой. Якун Моисеевич ведёт мальчиков не напрямик, а через торг — сперва мимо рыбных рядов, где бочки воняют солью и чем-то кислым, потом мимо кож, потом мимо горшечников, — и Александр понимает, что боярин делает это нарочно: показать не стены и не кремль, а то, чем город дышит каждый день, пока не грянет большое дело.

— Вот и она, — говорит Якун, когда ряды расступаются и впереди открывается простор.

Вечевая площадь в этот час пуста, и от этого ещё страшнее. Александр ждал увидеть что-то вроде отцовского двора в Переяславле — может, побольше, может, построже, — но здесь нет ни тына, ни резных ворот, одна открытая земля, утоптанная тысячами ног так, что трава на ней не растёт вовсе, и посреди этой земли — помост, рубленный из толстых плах, потемневших от дождей. Рядом со ступенью стоит ещё одно возвышение, пониже, но шире, и Якун, заметив взгляд Александра, коротко поясняет:

— Степень. Там старейшины стоят, когда вече кличут. Посадник, тысяцкий, бояре лучшие.

Александр смотрит на степень и невольно сравнивает её с отцовским престолом в Переяславле — высоким, обитым алым сукном, под которым и стоять-то боязно без спроса. Здесь ничего похожего: просто доски, простой помост, и всё же что-то в нём тяжелее любого престола, какое-то давление, которое мальчик не умеет назвать, но чувствует кожей, как чувствуют приближение грозы.

Над площадью, на высоком столбе с перекладиной, висит колокол. Не церковный — не слышно рядом звона к заутрене, не видно маковок прямо над ним, — а сам по себе, отдельный, будто для него одного поставлен этот столб посреди пустой земли. Колокол большой, язык у него толщиной с руку взрослого мужика, и даже в безветрии, даже молчащий, он смотрит на мальчиков сверху так, что хочется отступить на шаг.

Мимо проходит мужик с коромыслом, перекинутым через плечо, и, завидев колокол, стягивает шапку и мнёт её в кулаке, не замедляя шага, будто делает это по привычке, без мысли, так же как крестится мимо церкви. На Александра с Фёдором он даже не смотрит.

— Шапку перед кем снял? — тихо спрашивает Александр.

— Перед колоколом, — говорит Якун. — Не перед вами, княжич, и не передо мной. Тут так заведено.

Александр оглядывается на столб ещё раз, будто хочет убедиться, что не ослышался.

— Почему перед колоколом, а не перед князем?

Якун молчит мгновение, подбирая слово, и в этом его молчании Александру чудится что-то взрослое и усталое, вроде того, как отец иногда замолкал перед ответом, который самому не нравился.

— Потому, княжич, что ударят в этот колокол — и весь город на площадь сойдётся, от последнего смерда до первого боярина. И тогда, стоя здесь, последний смерд, коли он громче прочих кричит, более весит, чем ты, хоть ты и княжьего рода. Вече решает — вече и слушают. А князь при вече — что гость за столом: посадили, кормят, да только стол не его.

Слова ложатся в голову Александру тяжело, как камни на дно колодца, — не сразу понятно, насколько глубоко они легли, но чувствуется, что надолго. Он смотрит на пустую площадь, пытаясь вообразить её полной людей, гудящей, как вчера гудело за мутным оконцем, и ему становится зябко не от дождя.

— А если вече захочет, — говорит он медленно, — может оно князя прогнать? Совсем?

Якун не отвечает сразу. Он смотрит не на мальчика, а на колокол, будто спрашивает разрешения у него самого, и это молчание — больше, чем любой ответ, — проникает в Александра холоднее дождя. Молчание тянется, и в нём мальчику чудится всё то, чего боярин не хочет говорить вслух при детях: что да, может, что бывало уже не раз, что завтрашний день никому в этом городе не обещан заранее, даже тому, кто сидит на Городище и зовётся князем.

— Бывает и такое, — говорит наконец Якун, не глядя на мальчика. — Пойдём, княжичи, застынете.

Фёдор за это время успел отойти в сторону, к краю площади, и теперь нарочито неспешно пинает мыском сапога мокрый камешек, гоняя его по утоптанной земле, — всем видом показывая, что ему это место не в диковину и не в страх, что колокола да степени его не касаются. Но Александр замечает, как взгляд брата то и дело возвращается к столбу, задерживается на нём дольше, чем нужно просто мельком взглянуть, и как Фёдор, спохватившись, поспешно отводит глаза, точно его застали за чем-то стыдным.

— Пустое, — говорит Фёдор, пихая камешек ещё раз, уже сильнее, чем прежде. — Колокол как колокол. У нас в Переяславле звонниц поболе.

Но голос у него звучит не так уверенно, как хотелось бы, и Александр, идя следом за Якуном прочь с площади, оборачивается ещё раз — поглядеть на тёмный, молчащий колокол, который сейчас никому ничего не должен, но однажды, если ударят в него, соберёт под собой весь этот чужой, шумный, непонятный город, и тогда уже не будет иметь значения, кто там сидит на Городище и как его зовут.

На Городище вечер входит рано — осенние сумерки густеют в окнах, не дожидаясь часа, и дворовый человек обходит горницы с лучиной, зажигая светцы один за другим. В большой палате, где накануне ещё пахло нежилым, теперь пахнет мужским потом, мокрой овчиной и воском. К Якуну Моисеевичу пришли гости — трое бояр, грузных, в долгополых кафтанах, с бородами, в которых запуталась капель недавнего дождя. Пришли, как говорят дворовые, «о дружинном корму» — толковать, сколько хлеба и сукна положено Александровым да Фёдоровым отрокам, где им стоять постоем, с чьих амбаров брать припас.

Александра выпроваживают сразу — Якун коротко бросает кормилице: «Уведи княжича, не ребячье дело». Его ведут за полог, в соседнюю клеть, укладывают на лавку, укрытую войлоком, и велят спать. Но сон не идёт, а щель между неплотно пригнанными досками полога пропускает свет и голоса так ясно, будто стены вовсе нет. Александр лежит на боку, подтянув колени, и слушает, не дыша, — так, как учили его слушать лес, когда отец брал на охоту и велел замирать при шорохе.

Голоса за пологом густые, неспешные, перебивают друг друга без почтения, без той осторожности, с какой при нём, княжиче, взрослые обычно говорят вполголоса.

— Чего там рядить, — рокочет один, самый грубый, кому-то отвечая. — Был бы посадник крепок да казна цела — город и без князя проживёт, как жил допрежь. Невелика хитрость.

Голос у этого боярина такой, что от него, кажется, дрожат плошки на поставце: низкий, с хрипотцой, будто горло у него вечно простужено криком на торгу. Александр слышал уже этот голос днём, на площади, — нет, не слышал, но представил себе его именно таким, глядя на степень, где стоят старейшины.

— А кто, Гюрята Степанович, полки поведёт, когда свеи на Неву придут аль немец под Псков подступит? — отзывается другой, помягче, но и в этой мягкости слышна насмешка. — Ты поведёшь? У тебя амбар да лабаз на торгу, тебе бы весы поверить, а не стремя держать.

— Коли надо будет — и меч в руках удержу, не впервой, — огрызается первый, но без прежней уверенности, и слышно, как он возит по столу чашей.

— То-то и оно, что «коли надо будет». А князь на то и сидит на Городище, чтобы завтра, не откладывая, дружину в седло поднять. Нам бояться не доспеха его, а праздности нашей собственной, коли без него останемся.

Третий голос, визгливый, встревает без спросу, перебивая обоих:

— Так то не значит, что сажать его надо вовсе без присмотру, вольно, как у себя в Переяславле! Пущай сидит, покуда полезен, а чуть что — ему и путь указать недолго. Так уже бывало, чай, не впервой нам князей провожать.

Смех — короткий, сытый, без злобы, но и без тепла, тот самый смех, каким в воротах провожали их обоз вчера.

Александр лежит, вцепившись пальцами в край войлока, и старается разобрать каждое слово, хотя половину не понимает вовсе — что такое «посадник», отчего боярину «недосуг воевать», почему казна должна быть «цела», а не просто быть. Но смысл, тот, что прячется за словами, до него доходит яснее, чем сама речь, — так доходит до озябшей руки тепло печи раньше, чем глаз различит огонь.

— Нужен князь, не нужен — не нам вовсе решать, — говорит тот, что помягче, уже устало, будто подводит черту разговору, который вели уже не раз. — Вече решит. А вече сегодня одно скажет, завтра — иное, глядя по тому, кто страшнее у ворот стоит: немец ли, швед ли, аль собственный посадник, что казну подъел. Нынче нужен — сидит. Завтра не нужен — сам уйдёт, не дожидаясь, пока укажут, коли умён.

— А коли не уйдёт?

— Поможем, — хрипло отзывается Гюрята Степанович, и в этом слове слышится не угроза даже, а усталая, обыденная уверенность человека, который не впервой провожает за ворота то, что сам же недавно звал к себе.

Разговор сворачивает к другому — к сукну для дружины, к тому, сколько дворов положить на прокорм отроков, — но Александр уже не слушает подробностей. Он лежит, глядя в темноту клети, где от лучины за пологом пляшут неровные полосы света на бревенчатом потолке, и чувствует, как внутри что-то оседает, тяжёлое и холодное, точно камень на дно колодца, о каком он уже думал сегодня на площади.

Его привезли сюда не затем, чтобы он здесь был господином. Его привезли, чтобы он здесь был нужен — покуда нужен, — а это совсем разные вещи, и разницу между ними семи-

летний мальчик, лежащий в чужой клети чужого города, запоминает так, как запоминают ожог: не сразу поняв боли, но зная уже, что рука больше не будет прежней.

За пологом смеются снова — негромко, по-домашнему, над чем-то своим, — и этот смех, обыкновенный, сытый, пугает Александра сильнее, чем если бы бояре кричали и грозились. Так смеются над тем, что привычно, над тем, что уже случалось и ещё случится, — над мальчиком на Городище, которого то зовут, то гонят, как батрака, которому платят, пока он пашет, а разонравится работа — указывают на ворота.

Александр закрывает глаза, но сон не идёт ещё долго, и в темноте ему всё чудится тёмный, молчащий колокол на столбе, что видел он давеча, — и то, как легко, должно быть, ударить в него, когда придёт охота.

Светец на столбе горит слабо, роняя в горницу рыжее дрожащее пятно, и запах горелого масла мешается с запахом свежего, непросохшего дерева. Братьев оставляют одних — Якун Моисеевич ушёл досказывать своё боярам за трапезой, — и в клети становится так тихо, что слышно, как потрескивает фитиль.

Александр садится на край лавки, подтянув колени, и пересказывает брату всё, что подслушал за пологом: про казну, про посадника, про то, что князя держат, пока он надобен, а после — указывают на ворота, да ещё и помогают, если сам не поймёт.

Фёдор слушает, привалившись плечом к стене, и чем дольше слушает, тем шире кривит губы.

— Бородачи болтают, — говорит он, когда Александр умолкает. — Пускай болтают, им за то деньги не плачены — языком молоть. А меч у кого? У отца. И дружина отцова, не ихняя. Захочет отец — пришлёт столько копий, что весь их торг в щепки разнесёт вместе с лабазами.

Он говорит это с удовольствием, расправив плечи, как давеча на торгу, когда в спину им бросили насмешливое «ещё один». В голосе брата слышится не уверенность, а решение быть уверенным, и Александр, глядя на него снизу вверх, чувствует к этому решению что-то вроде зависти.

— А если город дружину не впустит? — спрашивает он тихо.

Фёдор моргает.

— Как это — не впустит?

— А так. Ворота свои, стены свои. Захотят — затворятся, и стой тогда отцова дружина хоть до Рождества под стеной, в снегу.

Фёдор открывает рот, но не сразу находит, что сказать, и Александр видит это — крохотную заминку, миг, когда брат, на два года старший и на голову выше, вдруг становится таким же мальчишкой, как он сам, не знающим ответа. Фёдору это не нравится, и он хмурится, выпрямляется ещё сильнее, будто рост может заменить довод.

— Да кто её затворит, — говорит он наконец, уже грубее, без прежней бойкости. — Тут и стены-то не ахти, мостки гнилые, в городе рыбой воняет на весь торг — я ещё на въезде унюхал. Город как город, не Царьград. Запрутся — продыхнут сами первые.

Это уже не довод, а просто слова, брошенные, чтобы прикрыть пустоту на месте ответа, и оба это понимают, хотя вслух никто не скажет. Александр невольно улыбается — не насмешливо, а как-то по-домашнему, впервые за весь этот долгий, чужой день, — и Фёдор, заметив улыбку, не обижается, а почти с облегчением улыбается в ответ, будто рад, что брат не стал допытываться дальше.

Несколько мгновений они просто сидят рядом в этом дрожащем рыжем свете, два мальчика в чужой клети чужого дома, и Александру кажется — хотя он ещё не умеет облечь это в слова, — что между ними сейчас не разница в возрасте и не вечная перепалка старшего с младшим, а что-то другое, редкое: оба одинаково малы перед этим городом, перед его воротами, перед колоколом на столбе, который видели сегодня на площади, молчащим, но будто ждущим.

Отцовское имя здесь не прикрывает ничем — ни Фёдора, ни его самого, — оно просто два слога, которые город либо примет, либо нет, и от этого оба брата, при всей разнице в росте и бойкости, вдруг становятся равны, как бывают равны перед дождём двое, у кого нет крова.

Фёдор первым чувствует, что молчание затянулось дольше, чем ему спокойно, и поспешно меняет разговор, будто спасаясь:

— Завтра, слышал, коней выводить велено — приучать к здешним дворам. Ты на какой пойдёшь, на гнедого или на того, пегого, что хромал на переправе?

Александр, ещё не вышедший из того короткого тепла, что было между ними миг назад, отвечает что-то про гнедого, про то, что пегий, кажется, уже выправился, но говорит это уже по-другому — обычным голосом, каким говорят о конях, а не о воротах и колоколах, — и чувствует, как брат рядом с облегчением подхватывает этот разговор, уводя обоих подальше от того места, где ни у кого из них не нашлось ответа.

Светец трещит, роняя каплю масла, и тень на бревенчатой стене вздрагивает, будто кто-то невидимый тоже вслушивается в их голоса — голоса двух мальчиков, которые завтра пойдут объезжать чужих коней на чужом дворе чужого города, где даже стены пахнут не так, как дома.

Светец догорает, и последняя капля масла падает с фитиля бесшумно, как снег. Фёдор лежит на спине, разметав руку поверх овчины, и дышит с присвистом — скоро это станет привычным звуком, под который Александр будет засыпать не одну зиму, но сегодня он ещё новый, ещё чужой, как и всё в этом доме. Брат проваливается в сон быстро, по-мальчишески, будто сон для него — та же выездка коней, которую легко освоить и объездить. Александр лежит без сна и смотрит в потолок.

Балки над головой тёмные, закопчённые — видно, в этой горнице печь топили и прежде, кто-то другой жил здесь до них и, может быть, тоже лежал без сна, глядя вот так же вверх. Дерево над головой чужое, пахнет смолой и чем-то кислым, нежилым, и Александр думает, что дома, в Переяславле, потолок был другой — и тут же понимает, что не помнит, какой. Память уже начинает путать, какой дом был раньше, а какой — теперь.

За стеной город не спит до конца, хотя час поздний. Где-то далеко, за Городищем, взлаивает собака, ей отвечает другая, ближе, и замолкает так же внезапно. Стучит колотушка — редко, с ленцой, будто сторож сам не верит, что кто-то посягнёт на сон Новгорода в такую сырую ночь. А ещё дальше, совсем тихо, слышен плеск — не то весло, не то рыба бьёт хвостом, не то просто вода Волхова трётся о сваи мостков, про которые сегодня так неудачно шутил Фёдор. Звуки чужие, непривычные, и всё же в них нет злобы — они просто есть, как дыхание самого города, которому нет дела до двух мальчиков, привезённых сюда боярами.

Александр лежит и думает об отце. Вспоминается не всё сразу, а то одно, то другое: ладонь, прижатая к рукояти меча, холод металла, который тогда показался тяжелее, чем сейчас кажется весь этот день. Отец говорил — мужчина не плачет при расставании, а запоминает, зачем расстаются. Тогда Александр не понял зачем. Теперь, кажется, начинает понимать — не умом ещё, а каким-то другим чутьём, которое рождается не от объяснений, а от усталости и холода чужой постели.

Меч в детской руке ничего не решает сам по себе — вот что выходит, если сложить вместе отцовские слова и то, что услышал он сегодня за пологом. Сила — это то, что держит в руке дружина, то, чем можно ударить. Но право — не в мече. Право в другом, в том, что бородатые бояре называли непонятным, тяжёлым словом, которое целый день вертелось у него на языке и никак не хотело становиться своим.

Александр едва слышно, одними губами, не издавая ни звука, повторяет это слово — вече, — будто пробует на вкус незнакомую ягоду, которую боится проглотить сразу. Вече. Ещё раз — вече. Слово не становится слаще, но постепенно перестаёт быть камнем в горле, превращается просто в слово, такое же, как многие другие, которые он выучит потом. Город, который

может позвать князя и может прогнать его — вот что это слово значит, и как бы оно ни пугало, произнесённое шёпотом, в темноте, оно уже не властно над ним так, как было властно днём, на площади, под молчащим колоколом.

Он думает о том, что сказал сегодня боярин за пологом — что князя держат, пока он полезен, а потом указывают на ворота, как батраку. Мысль эта сейчас, ночью, уже не пугает так, как пугала тогда. Она становится проще и твёрже, укладывается в голове рядом с отцовскими словами о силе и расчёте, и из этого соединения рождается что-то новое — ещё не решение, а только его зачаток, тёмный и острый, как первый зуб.

Он не позволит. Вот эта мысль, ещё неумелая, невзрослая, но уже упрямая, появляется где-то на самом краю сна. Он не позволит этому городу однажды просто указать на ворота, как указывают нищему или лишнему слуге. Он ещё не знает, как этого добиться — не знает ни слова «сила», ни слова «согласие» в том смысле, в каком узнает их через годы, стоя перед той же вечевой площадью уже не мальчиком, а князем с мечом на поясе и дружиной за спиной. Но сама мысль уже есть, засевшая, как заноза, и она не уходит даже тогда, когда веки становятся тяжелее тяжёлого, а дыхание выравнивается в ритм с посвистом брата рядом.

Последнее, что он чувствует перед тем, как сон накрывает его целиком, — не страх, хотя страх был весь этот долгий, чужой день, с самого въезда в ворота, где стража не поклонилась, и до вечернего спора за пологом. Это что-то другое, холодное и спокойное, не по годам спокойное для восьмилетнего мальчика, лежащего в чужой горнице чужого города: решимость, которая ещё не имеет формы, но уже имеет вес, и останется с ним — хотя об этом он, конечно, ещё не может знать, — на всю жизнь, до самого последнего дня в Городище, через битвы, через унижения в ханской ставке, через этот самый колокол, который он однажды заставит замолчать.

За окном колотушка стучит ещё раз, тише, дальше, и Волхов всё так же плещет о сваи, убаюкивая город, которому нет дела до того, что в одной из горниц на Городище только что решилась, сама того не ведая, часть его судьбы.

Глава 2. Наука отца

Снег сошёл с Городища недели две назад, но земля на дворе всё ещё держит прохладу, и к вечеру от неё тянет сырым духом, как от погреба. Зато днём солнце уже греет по-настоящему, и площадка перед конюшнями, где сапоги и босые пятки за полгода вытоптали землю до твёрдости камня, высохла и пылит под ногами.

Якун Моисеевич выходит на эту площадку каждое утро, невысокий, широкий в плечах человек с лицом, таким обветренным, что морщины на нём кажутся прорезанными ножом, и первым делом оглядывает обоих княжичей так, будто проверяет коня перед покупкой.

— Меч не палка, — говорит он, беря из рук Александра обрубок липы, обтёсанный под клинок. — Палкой машут. Мечом бьют. Хват вот такой.

Он разворачивает мальчику кисть, подкладывает большой палец иначе, чем тот держал сам, и сжимает его пальцы своими, твёрдыми, как дубовая кора.

— Крепче. Не сожмёшь — выронишь при первом ударе, и неважно, князь ты или холоп, меч про это не знает.

Александр сжимает. Пальцы уже через минуту ноют, но он молчит — отцовский пестун не из тех, кто делает скидку на возраст или на то, чей ты сын. Якуну всё равно, что одному из его учеников восемь лет, а другому десять: он поправляет стойку у обоих одинаково резко, тычком в поясницу или под колено, без слов утешения.

— Ноги шире. Ты не на вече стоишь, кланяться некому.

Фёдор стоит напротив, выше брата на голову, в плечах шире — он и в десять лет уже отзывается на слово «молодец», сказанное дружинниками без насмешки. Деревянный меч в его руке кажется игрушкой, но удары от этого не легче.

— Готов? — спрашивает он, и в голосе нет ни жалости, ни злого умысла, одна только спешка мальчишки, которому хочется поскорее до настоящего боя.

Александр кивает, и в следующий миг обрубок липы с глухим стуком бьёт его в предплечье, а затем, пока он не успевает опомниться, подсекает под колени, и он валится в пыль, чувствуя под ладонями мелкие камешки, въевшиеся в кожу.

— Опять руку опустил, — замечает Якун, не трогаясь с места. — Вставай.

Александр встаёт. Ладони горят, на правой уже сочится тонкая полоска крови, но он не смотрит на неё, не подносит к губам, как сделал бы, если бы упал играя во дворе переяславского терема год назад. Здесь другая земля, и боль здесь — не повод для жалобы, а часть науки, такая же, как хват меча или стойка ног. Он вытирает ладонь о порты и снова встаёт против брата.

Фёдор бьёт снова, сплеча, без хитрости, просто с разгона всем телом, и этого оказывается достаточно: у Александра нет той силы, чтобы принять удар стоя, его отбрасывает, и он снова оказывается на земле, на этот раз уже не так мягко.

— Хватит ему реветь, — бросает один из молодых дружинников, стоящий у коновязи с попоной через плечо, обращаясь не то к Якуну, не то к самому себе.

— Не ревёт, — отвечает Якун, не оборачиваясь. — Встаёт.

Дружинник хмыкает, но не уходит, смотрит, прищурившись на солнце, как мальчики расходятся для нового захода.

— Старший бьёт сплеча, всей силой, — говорит он затем, будто рассуждая вслух, ни к кому не обращаясь прямо. — А младший всё с оглядкой норовит, примерится — да отступит. Оно и понятно, сила не та.

Слова падают в пыль двора легко, мимоходом, как падает зерно, брошенное без умысла на бесплодную с виду землю, но Александр, поднимаясь в очередной раз, запоминает их крепче, чем хват меча. Он не смотрит на дружинника, не отвечает, только стискивает зубы так,

что скулы белеют, и снова встаёт против брата, который уже забыл о сказанном и готовится к новому удару с прежней беспечной охотой.

Солнце уже высоко, тени от частокола коротки, когда Якун Моисеевич, отводя в сторону рукав Фёдора, который снова замахнулся слишком размашисто, вдруг произносит, не меняя тона, будто говорит всё о том же бое:

— К исходу седмицы князя Ярослава в Новгороде жду.

Руки обоих мальчиков замирают одновременно, деревянные мечи повисают в неловкой тишине, и на миг даже дружинник у коновязи перестаёт перебирать ремень на попоне.

— Отца? — переспрашивает Фёдор первым, и в голосе его, обычно таком уверенном, что-то вдруг дрожит, как струна, которую тронули неосторожно.

— Отца, — подтверждает Якун и наконец разворачивается к ним, окидывая обоих тем же оценивающим взглядом, каким смотрел на них всё утро. — Так что покажете ему, чему выучились. Коли есть, что показывать.

И снова делает знак начинать сначала.

Ярослав Всеволодович въезжает на Городище без шума: десяток конных, обоз из двух телег, никаких труб и крашеных щитов — словно не князь переяславский едет, а боярин по хозяйству. Александр видит отца от ворот, узнаёт ещё по посадке в седле, по тому, как тот не оглядывается на встречающих, будто встреча менее важна, чем то, зачем приехал.

За столом в горнице свечей немного, хлеб ржаной, уха из свежей рыбы, квас в деревянных ковшах — ничего от пиров, какие Александр видел однажды в Переяславле на Рождество. Ярослав ест неспешно, расспрашивает коротко, без отеческой ласки, которой мальчик втайне ждал.

— Ну, что видели в городе? — спрашивает он, не поднимая глаз от миски.

Фёдор отвечает сразу, будто ждал вопроса весь день:

— Якун мечу учит, батюшка. И копьё держать. Я уже сбиваю Александра с ног в каждом заходе. — Он говорит это с гордостью, как о заслуге, и косится на брата, проверяя, слышит ли тот.

— Сбиваешь, — повторяет Ярослав без укора и без похвалы, так что непонятно, доволен он или просто отметил факт. — А копейщики мои тебе по нраву пришлись?

— По нраву, — кивает Фёдор горячо. — Сила в них добрая. Такими бы полками да на любого недруга.

Ярослав отламывает кусок хлеба, мочит в ухе, и молчит достаточно долго, чтобы Александр понял: сейчас последует не одобрение.

— Силой одной недруга не возьмёшь, — говорит он наконец, всё тем же тихим голосом, каким мог бы рассказывать про урожай. — По весне, когда на чудь ходили, был у меня воевода один, удалой, горячий. Повёл дружину вперёд без разведки, без слова с местными старейшинами — решил, что сила сама дорогу пробьёт. Пробила. Только после того похода чудь на три года такую ненависть затаила, что мне же пришлось своих смердов с порубежья уводить — жечь начали в отместку. Дружина цела вернулась, а землю потеряли на годы.

Фёдор хмурится, не находя, что ответить, и опускает взгляд в миску.

— Сила без расчёта — это гибель, — произносит Ярослав, и в голосе его нет назидания, только усталая точность человека, который видел это своими глазами не раз. — А расчёт без силы — унижение. Кланяешься, уступаешь, обещаешь — а за тобой никого, и всякий это видит, и всякий потом спросит с тебя вдвое.

Александр сидит, не притронувшись к ухе, и повторяет про себя эти слова, будто заучивает молитву, которую велели знать назубок. Сила без расчёта — гибель. Расчёт без силы — унижение. Он ещё не понимает всей тяжести этой мысли, но чувствует, что она устроена, как хороший замок на воротах: просто на вид, а откроешь — там ещё десять засовов.

— А если ни силы нет, ни согласия города за тобой? — спрашивает он тихо, почти не надеясь, что отец ответит, — скорее потому, что вопрос сам просится наружу, пока в горнице тихо и можно говорить негромко, не перебивая никого.

Ярослав поднимает глаза и смотрит на младшего сына дольше, чем смотрел весь вечер — не с удивлением, а с тем особым вниманием, с каким проверяют, не ослышался ли. Фёдор тоже оборачивается, но без понимания, что здесь такого в простом детском вопросе.

— Тогда, — говорит отец медленно, подбирая слово, — ждёшь. И копишь то, чего недостаёт. А пока ждёшь — не показываешь, чего у тебя нет.

Больше он ничего не добавляет, будто сказанного достаточно, и переводит разговор на другое — спрашивает Якуна о корме для коней, о том, чинят ли мост на Волхове к осени. Александр слушает вполуха, ловит себя на том, что уже не ест, а смотрит на отцовские руки, лежащие на столе спокойно, без суеты, — руки человека, который давно научился ждать.

Ярослав уезжает затемно, не дождавшись утра: коней седлают во дворе при свете одного факела, и провожать выходят только Якун да десяток челяди. Отец коротко обнимает обоих сыновей, у Фёдора задерживается чуть дольше, хлопает по плечу, говорит что-то о мече и о том, чтобы слушался наставника. Александру достаётся лишь взгляд — тот же, долгий, оценивающий, каким смотрел за столом, — и негромкое:

— Думай, о чём говорили.

Потом топот копыт стихает за частоколом, и во дворе остаются только двое братьев да гаснущий факел у коновязи.

— Чудно отец говорит, — произносит Фёдор, зевая, явно собираясь идти спать. — Будто мы не князья, а купцы, что товар считают.

Александр не отвечает. Он смотрит в темноту за воротами, где ещё слышен затихающий стук копыт, и думает, что брат, кажется, вовсе не расслышал главного — того, что отец сказал не про мечи и не про копейщиков, а про него самого, про то, каким ему, Александру, придётся быть, если однажды под рукой не окажется ни силы, ни согласия города.

Осень приходит в Новгород не красками, а запахом — прелой листвой с Городища, дымом овинов, мокрой соломой с телег, что тянутся к торгу. Якун Моисеевич берёт Александра с собой на посадничий двор без лишних слов, только велит стоять у стены и молчать, что бы ни услышал.

— Глаза и уши открыты, язык на привязи, — говорит он, и Александр кивает так серьёзно, будто ему доверили сторожить казну.

Посадничьи палаты пахнут воском и чем-то кислым — то ли квасом, то ли немытыми сапогами десятка бояр, набившихся в горницу. Александр встаёт у стены, рядом с Якуном, и первое время старается разглядеть, кто здесь главный: все одеты богато, у всех бороды лопатой, у всех кресты на груди поверх рубах, и по виду не отличить купца от владетеля земли.

Главным оказывается тот, кто громче всех кричит. Разговор идёт о мыте с заморских гостей — немецкие купцы привели обоз с сукном и солью, и теперь десяток голосов решает, сколько с них содрать за провоз через город.

— Да пущай платят, как от века платили! — хрипит кто-то грузный, стуча кулаком по столу так, что звенит ковш с мёдом. — А то повадились, ироды, мимо нас в Ладогу ходить, будто мы тут неведомо кто!

— А ежели уйдут вовсе? — тонко вскрикивает другой, тощий, с реденькой бородёнкой. — Тогда кому твой мыт считать, пустому амбару?

Ругань идёт такая, что Александр невольно пригибает голову — при отце за столом так не кричат, даже когда спорят о серьёзном. Здесь же будто нарочно соревнуются, кто громче и грубее скажет, и никто не стесняется мальчишки у стены, точно он вовсе не человек, а скамья или кадка с рассолом.

Один из старших, тот, что в самом богатом корзне, вдруг замечает его взгляд и кивает в его сторону без злобы, скорее с усмешкой:

— Эвон, княжич глядит. Пусть глядит, авось такому наука впрок пойдёт — раньше нашего разумеет, что к чему.

Остальные смеются, кто-то машет рукой — дескать, пустое, мал ещё, — и спор возвращается к прежнему руслу. Александр смотрит на этого боярина внимательнее: лицо хриплое от крика, голос грубый, как у человека, что не раз стоял в строю, а не только за столом сидел.

Через недолгое время, после того как накричались вдоволь, дело решается вдруг быстро и просто: пятеро сходятся в кучу у печи, шепчутся, кто-то называет число, кто-то кивает, кто-то морщится, но соглашается — и вот уже писец мочит перо, а обоз немецкого гостя, о котором говорили с таким жаром, получает свою цену без единого меча, без единого всадника. Решили не силой — сговором нескольких голосов, и Александру это кажется странным: будто целая судьба товара, людей, лошадей взвешена не на весах, а на языках пятерых мужиков, что уже тянутся к ковшу с мёдом, как ни в чём не бывало.

Он стоит у стены и смотрит, как расслабляются лица, и начинает различать то, чего раньше не замечал. Один, толстый, с крестом на пузе, при упоминании князя кривится, будто съел кислое яблоко, — этому князь не нужен, этому бы вовсе без княжеского стола обойтись, самим вече да посадником править. Другой, что постарше и потише, наоборот, хмурится при словах «пущай, без князя обойдёмся» и быстро вставляет: а кто ж тогда дружину соберёт, коли свеи опять полезут или литва? Этот без князя не хочет, хоть и не любит его, хочет только, чтобы под рукой была сила, которую можно позвать, когда страшно, и отослать, когда не страшно.

Александр смотрит на их бороды, на кресты, на перстни с печатями и думает, что все они одинаково кланяются при встрече и одинаково говорят «княжич», а внутри у каждого своё. И это кажется ему важнее самого спора о мыте — важнее, чем сколько возьмут с немецкого гостя.

Когда Якун наконец выводит его на двор, где уже стемнело и пахнет мокрой соломой от конюшен, Александр идёт молча, перебирая в памяти лица, будто раскладывает их по двум кучкам, как раскладывал бы грецкие орехи и желуди — похожие с виду, да разные внутри. Этот терпит князя, потому что без него нельзя. Тот терпит, потому что выгнать пока не с руки. А вот тот, хриплый, в богатом корзне, кажется, не из тех и не из других — этот присматривается, какую пользу извлечь, пока князь мал и покладист.

— Чему научился? — спрашивает вдруг Якун, не оборачиваясь, шагая впереди по тёмной улице.

— Что не все бояре одинаковы, — отвечает Александр осторожно.

Якун хмыкает в бороду — то ли одобрительно, то ли насмешливо, не разобрать, — и больше ничего не говорит до самого Городища.

Лучина трещит и роняет на доску стола крохотную искру, она гаснет раньше, чем Александр успевает её смахнуть. Монах-учитель, отец Поликарп, ушёл ещё засветло, оставив братьям переписывать на вощёных дощечках псалом про возвеселение сердца, и теперь в горнице только двое, да ещё слышно, как за стеной переступает ногами лошадь в конюшне — мороз загоняет её ближе к людскому теплу.

Александр ведёт писалом по воску медленно, стараясь не смазать буквы: отец Поликарп говорил, что хорошая рука видна по ровности строки, а неровная рука выдаёт неровные мысли. Он как раз выводит «возвеселихся», когда Фёдор, не дописав и половины строки, с силой бросает своё писало на стол. Оно подскакивает и падает на пол, и Александр невольно смотрит, как оно катится к печи.

— Будет с меня, — говорит Фёдор. Голос у него не злой, скорее усталый, будто он долго нёс что-то тяжёлое и наконец поставил на землю.

Александр поднимает голову, но ничего не спрашивает: с братом так привычнее, он сам скажет, если захочет, а если начать спрашивать — замкнётся и будет цедить слова нехотя, как воду сквозь зубы.

— Мне в исходе зимы пятнадцать минет, — продолжает Фёдор, глядя не на брата, а куда-то в тёмный угол горницы, где развешаны по стене чьи-то старые сбруи. — А я сижу тут с тобой, малым, над одной доской, и дворовые уже шутки шутят. Мол не видно старшинства, слыхал?

Он произносит это без обиды на самих дворовых — скорее с горечью к тому, что в этих словах правда.

Александр вспоминает, как действительно слышал похожее от конюхов: не со зла, скорее для смеха, когда братья выезжали рядом на выучку — да, так и сказали, что непонятно, кто старший, коли оба равно под рукой у Якуна Моисеевича да у новгородского стола. Тогда он промолчал, посчитав это пустой болтовнёй челяди. Теперь видно, что брат эти слова носит в себе, как занозу, которую сам не вытащить.

— Ты старший, — говорит Александр осторожно. — Все это знают.

— Знают, да что с того? — Фёдор наконец смотрит на него, и в свете лучины лицо у него не злое, а какое-то растерянное, не по-братски взрослое и не по-взрослому детское сразу. — Старший сидит в Новгороде наравне с младшим, оба на поклоне у веча, оба ждут, покуда бояре решат, нужны мы им нынче или нет. Разве так старшинство выглядит?

Он подпирает голову рукой и говорит уже тише, будто сам себе, глядя в темноту за окном, где за ставнями шумит ветер с Волхова:

— Мне бы свой стол. Хоть бы самый худой, хоть бы в Торжке каком или в Переяславле захудалом — лишь бы своей волей сидеть, а не на вечевом долготерпении. Чтобы не бояре мне кланялись через раз, когда им выгодно, а чтобы земля была моя, и дружина моя, и дань моя.

Александр хочет возразить и чувствует, что слова у него выходят слабее, чем он задумал, будто не вполне верит в них сам:

— Мы оба тут покуда гости. Хоть в Новгороде, хоть где. Отец решит, кому где сидеть.

Фёдор усмехается, но не зло:

— Вот то-то и оно. Решит отец. А я хочу, чтобы решалось мной, а не отцом.

Он замолкает, и в горнице становится слышно, как потрескивает лучина и где-то в сенях скрипит половица под чьими-то неспешными шагами — должно быть, холоп несёт дрова на ночь. Александр ждёт, не зная, стоит ли продолжать спор или оставить брата с его невысказанной обидой наедине.

Но Фёдор вдруг меняется в лице — так быстро, что Александр не сразу понимает, что случилось. Хмурость уходит, и брат наклоняется к нему через стол, понижая голос, будто боится, что их подслушают, хотя в горнице никого, кроме них двоих.

— Отец мне на Рождество обмолвился, — говорит он, и в голосе впервые за весь вечер не слышно ни обиды, ни бравады. — Будто подыскивает мне невесту. Не сказал, кого, не сказал, когда, а всё же сказал — пора, мол, тебе о своём доме думать, не только о мече.

Он произносит это так, как говорят о чём-то, во что боятся поверить до конца, чтобы не сглазить, и тут же улыбается — коротко, неловко, будто сам смущён этой улыбкой.

— Своя жена, свой двор когда-нибудь, — повторяет Фёдор почти шёпотом. — Это тебе не вечевой стол делить.

Александр смотрит на брата и видит в нём что-то новое — не того старшего, что сбивает его с ног на учебном дворе без злого умысла, а другого, младше своих пятнадцати лет, которому просто хочется, чтобы его жизнь принадлежала ему самому хоть в чём-нибудь. И радость эта такая настоящая, что передаётся и Александру: он улыбается в ответ, искренне, и хлопает брата по плечу, как видел, что делают дружинники друг другу после удачной рубки.

— Дай бог тебе доброй невесты, — говорит он, и слова выходят у него теплее, чем все, что он говорил за весь вечер.

Фёдор смеётся, впервые за этот разговор легко, без горечи, и толкает брата в плечо в ответ, уже по-прежнему, по-братски грубовато. Но когда смех стихает и Фёдор наклоняется поднять с пола упавшее писало, что-то холодное шевелится у Александра внутри, там, где должна быть только радость за брата: если у Фёдора будет свой двор, своя жена, свой стол где-то далеко, то кто останется здесь, в Новгороде, один на один с этим городом, что кланяется через раз, когда ему выгодно?

Он гонит эту мысль прочь, как гонят назойливую муху, и снова склоняется над своей дощечкой, дописывая недописанную строку псалма.

Весна 1231 года приходит в Новгород вместе с ледоходом на Волхове: лёд трогается с таким треском, что по ночам кажется, будто за стеной бьются мечами. На дворе Городища сходит снег, обнажая прошлогодний навоз и вытоптанную за зиму землю, и в этой грязи у коновязи сходятся двое отроков из младшей дружины — оба чуть старше Александра, оба уже с пушком над губой, которым так гордятся.

Спор выходит из пустяка: один привязал коня там, где обычно стоит конь другого. Голоса их поднимаются быстро, как вода в половодье, и вот уже один толкает другого в грудь, а второй хватается за ворот обидчика, и дружинники постарше, вместо того чтобы развести мальчишек, стоят кругом и посмеиваются, предвкушая потеху.

Фёдор подходит к месту первым, раздвигая зевак плечом, и Александр не отстаёт, хотя ему приходится протискиваться там, где брат проходит свободно.

— Будет вам, — говорит Фёдор, но не с тем, чтобы остановить, а чтобы навести порядок по своему разумению. — Коли спорите, кто прав, пусть руки решат. Кто кого на землю положит, тот и у коновязи хозяин. По рукам, что ли?

Отроки замолкают, но не от испуга, а оттого, что предложение им по нраву: драка, которую хотелось затеять самим, теперь дозволена старшим, да ещё и при свидетелях, значит честно. Один уже стаскивает с плеч кожух, другой сплёвывает в ладони, как видел у взрослых воев.

Александр смотрит на это и чувствует, как внутри поднимается что-то похожее на досаду, хотя он ещё не понял, на что именно досадует. Он вспоминает Якуна Моисеевича, который на учебном дворе не раз говорил, что кулак решает дело один раз, а назавтра дело снова надо решать. Вспоминает и отца — тихий голос за трапезой, слова про силу без расчёта.

— Погоди, Фёдор, — говорит он, и голос у него тоньше, чем ему хотелось бы, но останавливается не только брат, останавливаются и отроки, услышав в его тоне что-то, что заставляет прислушаться. — Положит один другого — так ведь не кончится. Проигравший завтра станет искать, с кем отыграться, да хоть бы и с победителем через месяц. А коновязь одна, и спорить об ней будут снова и снова.

Фёдор хмурится, скрестив руки:

— А ты что предложишь? Миром их разводить, как девок на посиделках?

— Жребий, — говорит Александр и сам удивляется, как ровно выходит это слово. — Пусть тянут соломинки. Кто вытянет долгую, тот и ставит коня у ближнего столба. Проигравший в обиде не будет: не брат его одолел и не кулак чужой, а воля Божья так легла. Спорить не с кем.

На дворе становится тихо, только где-то за частоколом перекликаются вороны, вернувшиеся на старые гнёзда с юга. Отроки переглядываются: один уже готов был лезть в драку, но слова про жребий и волю Божью отрезвляют его скорее, чем любой окрик. Проиграть кулаком — стыдно перед товарищами на долгие седмицы. Проиграть жребию — не стыдно вовсе, ибо жребий не разбирает, кто из них сильнее, а лишь исполняет чужую, высшую волю.

— Пусть так, — говорит первый, и видно, что ему самому легче на душе оттого, что драки не будет, хоть он и не признается в этом вслух.

— Пусть так, — повторяет второй, пожимая плечами с показным равнодушием.

Александр находит у коновязи две соломинки, ломает одну короче другой, зажимает в кулаке так, что торчат только ровные кончики, и протягивает отрокам. Те тянут по очереди, под взглядами уже десятка дружинников, стянувшихся к месту, где ждали потехи, а получили вместо неё странное, но действенное судилище. Короткую соломинку вытягивает тот, кто первым привязал коня не на своё место, и он, покраснев, но не возражая, отводит коня к дальнему столбу, бормоча что-то про то, что жребий есть жребий.

Один из старших дружинников, широкоплечий детина с изрубленной в прежних походах щекой, провожает Александра взглядом, когда тот отходит прочь, и хмыкает одобрительно, ни к кому вроде бы не обращаясь:

— Гляди-ка, мал, да удал на выдумки.

Фёдор идёт рядом, качая головой, и в голосе его больше удивления, чем насмешки, хотя он и пытается свести дело к шутке:

— Хитёр ты не по годам, брат. Я бы их так и стравил кулаками, дело привычное, да и скорее бы кончилось.

— Кончилось бы, да ненадолго, — отвечает Александр, и сам не сразу понимает, откуда в нём эта уверенность. — Назавтра снова бы сцепились, через месяц опять. А так — решили один раз, и дело забыто.

Фёдор не спорит, только хлопает брата по плечу тяжелее обычного, будто проверяя, не покачнётся ли тот, и Александр не покачивается. Он идёт дальше по двору, уже мокрому от талого снега, и думает про себя, повторяя почти отцовскими словами, что сила решает спор на сегодня, а расчёт — на все дни, что придут следом за сегодняшним.

Весть приходит с торговым обозом, который возвращается из Переяславля раньше, чем ждали, — гонец ещё не отряхнул снег с сапог, а по Городищу уже бежит шёпот от челяди к челяди, обрастая подробностями быстрее, чем успевает добежать до боярских теремов. Фёдору сосватана невеста, из рода княжеского, и свадьбу велено играть здесь, в Новгороде, по осени.

Александр узнаёт об этом последним, как всегда бывает с главным в доме известием: сперва его слышат конюхи, потом дворня, потом Якун Моисеевич, и только после того братец сам находит его, перепрыгивая через недотаявшие лужи на дворе, с лицом, какого Александр у него прежде не видел, — не того показного превосходства, с каким Фёдор обычно разговаривает с младшим, а какой-то растерянной, почти детской радости, от которой он сам, кажется, смущается.

— Слыхал? — говорит Фёдор, и голос у него садится на середине слова, будто он сам не верит, что произносит это вслух.

— Слыхал, — отвечает Александр. — Невеста из Чернигова, бают.

— Из Чернигова, — повторяет Фёдор, и повторяет так, будто пробует слово на вкус, как пробуют новую сбрую — крепка ли. Он садится рядом с братом на бревно у коновязи, не замечая, что оно ещё влажное после утреннего дождя, и долго молчит, глядя куда-то за частокол, туда, где Волхов несёт мимо последний ноздреватый лёд.

— Боюсь, — признаётся он вдруг, тихо, без всякой удали. — Невесты-то я сроду не видел. А ну как кривая да злая?

Александр чуть не смеётся, но сдерживается — брат не шутит, брат и вправду боится, и это пугает сильнее, чем если бы он бахвалился по обыкновению.

— Отец зря не сосватает, — говорит он вместо этого, подбирая слова так, как подбирал бы отцовские, сказанные о расчёте. — Он прежде десять раз взвесит, кому и с кем родниться, чем послов пошлёт.

Фёдор кивает, будто и сам думал о том же, только стыдился сказать первым. Он впервые за долгие месяцы не напоминает брату, что тот младше на два года, не расправляет плечи,

показывая разницу в росте, — просто сидит рядом, обычный пятнадцатилетний отрок, которому страшно и радостно разом, и Александру этот час кажется ценнее доброй дюжины воинских уроков Якуна.

На боярском дворе весть встречают иначе. Александр слышит разговор случайно, проходя мимо раскрытых дверей гридницы, где толстый боярин Житобуд, трясясь бородой, толкует соседу, прихлёбывая квас:

— Оно и ладно, что здесь свадьбу играть будут, а не в Переяславле. Ещё лишний повод Ярославу за сына нашу гостеприимность помнить. Да и Чернигов — родня не последняя, пригодится.

— Пригодится, пригодится, — скрипуче поддакивает другой, прищурившись. — Чем крепче в земле корни у княжат, тем сговорчивее отец их будет, коли город чего попросит.

Александр замирает за дверью, слушая, и впервые отчётливо понимает то, о чём прежде только догадывался: для этих людей женитьба брата — не радость и не горе, а монета, которую можно положить на нужную чашу весов. Он уходит, не дослушав, с неприятным холодком где-то под рёбрами, но холодок этот быстро отступает перед суетой, охватившей весь двор.

Палаты готовят спешно — выметают углы, где годами копилась пыль, выносят на просушку шубы и ковры, пересчитывают скудную новгородскую утварь, прикидывая, чего не хватит для свадебного стола. Якун Моисеевич распоряжается всем этим сам, и Александр с удивлением слышит в его обычно жёстком, учительском голосе непривычную мягкость, когда тот велит дворне не ломать старую лавку у печи — на ней, мол, ещё отец Фёдора сиживал, пусть постоит для памяти.

Вечером Фёдор находит брата уже у самой лучины, когда тот собирается спать, и садится на край лавки, явно не торопясь уходить.

— Вот что, брат, — говорит он, и голос звучит почти торжественно. — Получу свой стол — а отец обещал, что получу, — заберу тебя к себе. Чтоб не сидел ты тут один среди этих бояр со звонкими их колоколами да хитрыми речами. Будем вместе, как и положено братьям.

Александр смотрит на него и вдруг понимает, что верит этому обещанию целиком, без остатка, как верят в детстве всему, что говорят старшие, — и от этой веры на душе становится светлее, чем было весь этот суматошный день.

— Буду ждать, — отвечает он просто.

Фёдор хлопает его по плечу, уже без обычной грубоватой силы, а мягче, по-братски, и уходит, оставляя лучину брату. Александр ложится на лавку, слушая, как за стеной ещё хлопочет челядь, как где-то далеко лает собака на новгородском подворье, и впервые за долгое время засыпает легко, без привычной тяжести на сердце, хотя сам не может объяснить, откуда взялась эта лёгкость — то ли от братниного обещания, то ли просто от того, что завтра обещает быть похожим на сегодня, а не на один из тех дней, когда земля вдруг уходит из-под ног.

За три дня до венчания Фёдор жалуется на ломоту в костях и прячет лицо в ворот рубахи, когда его трясёт озноб. Дворня решает — застудился, носясь по торгу за свадебными подарками, благо осень в этом году сырая, с Волхова тянет холодом, что твой колодец. Якун Моисеевич велит растереть его гусиным салом и напоить взваром, посмеивается, что жених, видать, бежит от собственной свадьбы, раз болезнь на себя напускает. Александр смеётся вместе со всеми, потому что так положено, а на сердце уже царапает что-то, чему он пока не находит слова.

К вечеру второго дня смех в доме стихает. Жар не спадает, а крепнет, будто внутри брата развели печь и забыли прикрыть заслонку. Приходит знахарка, старуха с Торжка, шепчет над Фёдором наговор, обвязывает запястье красной нитью, велит окуривать горницу дымом полыни. Дым ест глаза, но жара не гонит. На третий день является монах из ближнего мона-

стыря, читает молитву ровным, усталым голосом, кропит ложе святой водой — и уходит, не глядя никому в лицо, а это молчание пугает Александра больше, чем самые страшные слова.

Отвары не держатся в брате, выходят обратно вместе с рвотой. Старуха разводит руками и бормочет что-то про сглаз, про недобрый взгляд на торгу, но Якун Моисеевич обрывает её коротко — и велит больше не пускать на двор.

Александр сидит у ложа ночами, потому что днём его гонят прочь — не ребячье, мол, дело смотреть на такое. Но ночью, когда дом затихает, он проскальзывает в горницу и садится на лавку рядом, слушая, как брат бормочет что-то несвязное про коней, про отца, про какую-то девушку, которую Александр никогда не видел. Жар сушит губы Фёдора добела, и от этого спёкшегося рта летят слова, в которых нет уже никакого смысла, только страх и жажда.

Александр держит его руку — горячую, как уголь из печи, — и впервые в жизни понимает, насколько бессильна вся его наука. Меч можно поднять против меча, слово можно взвесить против слова, а против этого огня, пожирающего брата изнутри, нет ни хвата, ни стойки, ни хитрого расчёта. Можно только сидеть и смотреть, как Фёдор сгорает у тебя на глазах, и это куда страшнее любой стычки на учебном дворе.

На исходе второго дня болезни брату вдруг становится легче — так, во всяком случае, кажется в первые мгновения. Фёдор открывает глаза, и взгляд в них проясняется, узнаёт.

— Ты чего тут сидишь, — шепчет он, и в голосе проступает что-то похожее на прежнюю насмешку. — Спал бы. Не ровен час, завтра опять Якун поднимет ни свет ни заря.

Александр не может выговорить ни слова, только сжимает его ладонь крепче.

— Помнишь пегого, которого мне в прошлом году сватали? — Фёдор слабо улыбается потрескавшимися губами. — Я ведь так и не объездил его как следует. Ты уж… когда стол получу, пришлю за тобой, разберёшься с этим пегим вместо меня.

Он пытается засмеяться собственной шутке, но смех оборачивается кашлем, и глаза снова начинают плыть, теряя Александра из виду, уходя в тот спутанный мир, откуда брат появился на минуту лишь затем, чтобы проститься, сам того не зная.

К исходу третьего дня Фёдор затихает совсем. Дыхание его делается редким, долгим, с хрипом, будто воздуху уже тесно в груди, а потом однажды просто не возвращается. Знахарка, вызванная снова вопреки запрету, прикладывает ухо к груди, выпрямляется и качает головой — коротко, без слов, потому что слова здесь уже лишние.

Александр стоит у порога горницы и смотрит, как женщины обмывают тело брата, как Якун Моисеевич, ссутулившись, крестится на образ в углу медленно, будто у него вдруг отказали руки. До свадьбы, которую весь город ждал с таким радостным нетерпением, оставалось меньше седмицы.

В доме, с утра ещё пахнувшем воском и пряным сбитнем, к ночи пахнет ладаном. Дворовые девки, вчера весело перебиравшие свадебные уборы, теперь молча снимают с лавок и стен яркие ткани, которыми украшали палаты к венчанию, и складывают их в сундуки — туда же, откуда достали всего седмицу назад. Кто-то из баб всхлипывает украдкой, пряча лицо в рукав. Александр смотрит на опустевшие стены, на то место, где должен был стоять свадебный стол, а теперь будет стоять другое, и чувствует, как внутри него что-то оседает, точно земля под тяжёлым снегом, — тихо и уже навсегда.

Отец приезжает на третий день — не с малой дружиной, как бывало прежде, а в одиночку, загнав коня, так что тот стоит у коновязи, опустив голову, весь в мыле, и конюший долго растирает ему бока соломой, прежде чем свести под навес. Ярослав Всеволодович входит в церковь уже к самому отпеванию, не успев даже отряхнуть дорожную пыль с плеч, и Александр, стоящий у гроба, впервые в жизни видит отцовское лицо таким — без той собранности, что всегда держала черты, будто ремнём стянутые. Отец смотрит на сына в гробу, и губы его шевелятся беззвучно, словно он хочет что-то сказать Фёдору и не находит слов, которые были

бы не поздними. Александр столько раз слышал от отца о расчёте и силе, что ждёт и теперь какого-то урока, какой-то твёрдости — а видит только человека, у которого подкашиваются колени, и дьяк вполголоса подсказывает ему, где встать.

Бояре держатся чинно, как и подобает на отпевании княжьего сына: кланяются степенно, крестятся истово, иные утирают глаза рукавом — то ли вправду скорбя, то ли по обычаю. Но Александр, стоя рядом с гробом, ловит то, чего взрослые, быть может, и не замечают друг за другом: быстрые взгляды, которыми бояре обмениваются через головы молящихся. В этих взглядах нет злорадства, но есть что-то похожее на счёт, который ведут купцы, пересчитывая мешки в амбаре. Было два наследника на Городище — остался в живых только один. Один мальчик про запас у Новгорода против непогоды, а не двое. Александр не умеет ещё назвать это чувство словом, но запоминает его так же крепко, как запоминал хват меча: вот как смотрят люди, когда примеряются к твоей слабости.

После обряда, когда гроб уже вынесли, Александр уходит из Собора и дальше из монастыря не к дружине и не к отцу, а один, в ту горницу, где они с Фёдором столько зим подряд сидели над грамотами при лучине. Лавка, на которой брат имел привычку сидеть вполоборота, закинув ногу на ногу и грызя писало, стоит пустая, и свет из маленького слюдяного оконца падает на неё так ровно и буднично, будто ничего не изменилось. Александр долго стоит в дверях, не решаясь войти, точно боится потревожить кого-то, кого там уже нет.

Он вспоминает — само собой, без всякого умысла, — как давным-давно, в первую новгородскую зиму, они с Фёдором шли через вечевую площадь и брат от нечего делать гонял ногой подвернувшийся камешек, насвистывая что-то бравое, будто ему совсем не страшно среди этой чужой, горластой толпы. Тогда Александру казалось, что Фёдор и вправду ничего не боится — ему, младшему, было стыдно признаться, что у самого под рёбрами всё холодеет от этого города, от его колокола, от взглядов бояр. Теперь, стоя в пустой горнице, он впервые жалеет — остро, до рези в груди, — что так и не сказал брату вслух простого: я тоже боюсь. Может, оттого Фёдор и бравировал сильнее, что думал — бояться позволено только ему одному.

Отец находит его там же, в дверях горницы, и останавливается рядом, не входя. Ярослав Всеволодович уже не тот, каким был в Соборе: лицо снова собрано, голос ровен, только глаза запали глубже обычного, будто за три дня он постарел на три года.

— Завтра еду, — говорит он тихо, глядя не на сына, а на ту же пустую лавку. — В Переяславле дела, да и во Владимире ждут.

Александр кивает, не находя, что ответить. Отец молчит ещё немного, потом кладёт руку ему на плечо — коротко, по-мужски, без того объятия, которого, быть может, хотелось бы обоим, но которое не в обычае ни у князей, ни у воинов.

— Теперь ты один в ответе за этот город, — говорит он. И это всё, что он говорит: ни наставления о силе и расчёте, ни слова утешения, только эта простая фраза, которая оказывается тяжелее любого отцовского урока, выученного прежде. Александр чувствует, как слова входят в него не сразу, а медленно, точно вода, впитывающаяся в сухую землю, — и понимает, что отныне этот груз, прежде деленный пополам с братом хотя бы по видимости, лежит целиком на его плечах, и переложить его не на кого.

Назавтра отец уезжает затемно, как уезжал всегда, — не любит прощаний при свете дня. Александр остаётся на Городище один среди бояр, которые уже на следующий вечер, за трапезой, присматриваются к нему новыми глазами: не с прежней снисходительностью к младшему при старшем, а с тем особым, оценивающим прищуром, каким смотрят на товар перед покупкой. Крепкий ли хозяин достался городу или удобная слабость, которую можно будет прогнуть по надобности? Александр ловит этот прищур, и что-то внутри него, ещё недавно мягкое от горя, начинает твердеть, как сырая глина на морозе.

Глава 3. Первое слово князя

Судная горница на Юрьевом подворье топится по-чёрному всю ночь, и к утру дым выходит в волоковое окошко, оставляя под низким потолком лёгкую серую дымку да запах смолья. Александр сидит за столом, где прежде сидел Якун, положив локти на доски, потемневшие от чернил и воска, и ждёт, пока писец разберёт ворох берестяных грамот. Семь лет — немалый срок: мальчишка, которого бояре привезли из Переяславля перепуганным и оробелым, давно вытянулся, раздался в плечах, над верхней губой пробивается первый жёсткий пушок, который он то и дело трогает пальцем, не замечая этого за собой. Голос у него ломается редко — больше по привычке, чем по надобности, — и он уже научился говорить так, чтобы голос не дрожал, даже если внутри ещё что-то дёргается.

— Читай, — говорит он писцу, молодому дьячку с чернильными пятнами на обоих рукавах.

Дьячок разворачивает первую бересту, щурится на мелкие буквицы, нацарапанные писалом неумелой рукой.

— Спор о меже, княже. Сельце на Полисти, двое соседей делят полосу у ручья. Один кричит — испокон веку его земля, другой — что ручей русло сменил по весне, стало быть, и межа сдвинулась.

Александр слушает, не перебивая, разглядывая закопчённую балку над головой. Такие споры случаются после каждого разлива — вода не спрашивает, чья земля, и люди потом грызутся за то, что сама река перенесла с одного берега на другой.

— Пусть межу кладут по тому руслу, какое было до разлива, — говорит он. — Старики на погосте помнят, где оно шло, — спросить у них, не у крикунов. А кто упрётся — на того пеню, в пользу Софии.

Дьячок чиркает писалом, кивает — коротко, без удивления, будто иного решения и не ждал. Прежде такое говорил бы за Александра пестун, Якун, косясь на мальчика, точно спрашивая без слов, согласен ли княжич. Теперь спрашивать некого, да и незачем: решение само ложится на язык, ровно и спокойно, как ложится нога в стремя, к которому привык.

— Второе дело, — продолжает дьячок, берясь за другую полоску бересты. — Купец Онфим должен соседу гривну кун за невода, не отдаёт второй год, говорит — отдал, да расписки не взял.

— Без расписки долг не докажешь, — отвечает Александр не задумываясь. — Но пусть целуют крест оба, при свидетелях. Кто соврёт на кресте — тому вина вдвое тяжелее самого долга.

Он произносит это так же легко, как прежде произносил бы урок, вызубренный у наставника, только теперь это не урок, а его собственное слово, и оттого в груди что-то тихо, похозяйски, укладывается на место. Отец, уезжая в последний раз, сказал ему всего одну фразу — что теперь он один в ответе за город, — и с тех пор Александр будто примеряет на себя эту ответственность каждый день заново, прилаживая её то так, то эдак, пока она не начинает сидеть, как кольчуга, скроенная по росту.

Дверь горницы приоткрывается без стука — так входят только свои, — и просовывается голова отрока с торга, запыхавшегося, в накинутом кое-как кожухе.

— Княже, дозволь слово молвить.

— Говори.

— Немецкие гости на дворе шепчутся, да и свеи что чай-соль возят. Люди бают — в устье Невы видали чужие ладьи, да не торговые, долгие да узкие, как для рати. Будто мерили они глубину шестами, высматривали, где броды, где мели.

Александр хмурится, и писец рядом замирает, не донеся писало до следующей грамоты. Слух не новый — такие байки приносят с моря каждую осень, когда свеи или немцы ссорятся с новгородским гостиным двором из-за пошлины и норовят попугать город страшными словами. В прошлом году болтали про литву под Лугой, позапрошлом — про датчан у Копорья, и всякий раз страх оказывался больше правды.

— Чьи ладьи, не распознали? — спрашивает он всё же.

— Не берусь сказать точно, княже. Одни говорят — свейские, другие — будто и немцы были при них.

— Узнай точнее, — говорит Александр, не повышая голоса. — Кто видел своими глазами, а не с чужих слов пересказывает. Сходи на пристань, расспроси корабельщиков, что намедни из моря пришли. Коли правда — доложишь мне, а не разносить по торгу раньше времени, чтобы весь город раньше срока не взбударажить.

Отрок кланяется и исчезает так же быстро, как появился. Александр остаётся сидеть, постукивая пальцем по краю стола, и странное чувство ворочается в груди — не тревога ещё, а лёгкая, едва ощутимая зацепка, будто на одежде зацепилась нитка и вот-вот потянется дальше. Он отгоняет её прочь: мало ли слухов приносят с торга, не всякий стоит того, чтобы ломать над ним голову раньше времени. Пусть разузнают точнее, тогда и решать.

Он отпускает дьячка, поднимается из-за стола, разминая затёкшую от долгого сидения спину, и выходит за порог горницы в сени, где пахнет дымом и мокрой овчиной от входящих и выходящих просителей. У перехода, прислонившись к столбу, стоят двое бояр, которых он прежде на Городище не встречал, — оба в добротных кожухах, оба в возрасте, когда борода уже тронута сединой, но плечи ещё крепки. Они не кланяются поспешно, как кланялись прежде старые знакомцы отца, не отводят глаза почтительно. Один, пониже ростом, провожает Александра неспешным, оценивающим прищуром, каким смотрят не на княжича, а на коня, которого ещё предстоит решить, покупать или нет, — крепок ли хребет, не захромает ли на первой версте. Второй высокий, смотрит так же внимательно, и Александр, проходя мимо, чувствует этот взгляд на спине ещё долго после того, как сворачивает за угол клети, и не может понять, отчего ему вдруг становится неуютно — будто его уже взвесили и о чём-то между собой сговорились, не спросив его самого.

Шум долетает раньше, чем Александр успевает дойти до коновязи, — не торговый гомон, к которому ухо давно притерпелось, а другой, с надрывом, какой бывает, когда кто-то уже не просит, а кричит.

У лабаза на краю купеческого ряда теснится десяток зевак, и над их головами мотается шест с содранным лыком, которым, видно, только что грозили подпереть дверь. Два дюжих молодца в добротных кафтанах, по виду не из последних дворовых людей, обступили невысокого мужика и толкуют ему что-то в один голос, перебивая друг друга.

— Двойной мыт, сказано тебе! Не хочешь платить — лабаз затворим, а воск твой на пристани сгниёт.

— Да где ж оно писано, двойной-то! Отец мой тут полвека торговал, и всегда одну пошлину платил, одну!

Александр замедляет шаг, не доходя десятка саженей. Он уже выучился за эти годы не соваться сломя голову в первую же свару на торгу — мало ли кто кого в сердцах обругал из-за цены на рыбу, — но этот крик другой, в нём не торговая брань, а настоящий страх, и Александр медлит ровно столько, сколько нужно, чтобы понять: дело не пустяковое.

Мужик вдруг оборачивается, замечает его — алый плащ, дружинников позади — и, расталкивая зевак, бежит через торг напрямик, огибая кадки с рыбой и чьи-то раскинутые на рогоже холсты. Бежит неловко, загребая воздух руками, и у самой коновязи, где Александр остановился, падает на колени прямо в раскисшую от вчерашнего дождя землю, хватаясь за полу его плаща.

— Княже, заступись, Христа ради!

Кто-то из дружинников дёргается вперёд, но Александр останавливает его коротким движением руки. Мужик худ, жилист, ладони и рукава у него в сухом воске, точно обмазаны воском нарочно, — пасечник или торговец сотами, не иначе, — и глаза у него бегают, не в силах удержаться на одном месте от страха.

— Встань, — говорит Александр. — Не по чину кланяешься — в ноги князю только у церкви падают, не на торгу. Кто таков и чего хочешь?

Мужик поднимается, но не выпрямляется до конца, остаётся согнутым, будто поклон ему удобнее, чем прямая спина.

— Гостята я, Нездинич, воском да мёдом торгую, вот с отцовых ещё времён на этом месте стою...

— Ну?

— Люди боярские, Домаша Твердиславича, двойной мыт с меня требуют. Говорят, через их пристань товар идёт, стало быть, им и платить вдвое супротив прежнего. А отец мой, покойник, сроду такого не плачивал, одну пошлину вносил, как от веку заведено!

Голос у него срывается, путается, он то забегает вперёд, рассказывая про пристань, то возвращается назад, к отцу, то снова про воск, который сгниёт в затворённом лабазе, и Александр слушает, не перебивая, пытаясь из этого сбивчивого потока выловить то, что важно: пристань — боярская, Домаш требует новую плату, старого обычая никто не отменял указом, просто хочет взять больше, пользуясь тем, что пристань — его.

Он стоит и слушает, а в голове само собой всплывает давнее, ещё отроческое: как стоял когда-то у стены посадничьей палаты, прижавшись к холодному камню, и Якун шептал ему на ухо — вон тот боярин, вишь, бородой трясёт, а сам за шею готов удавить соседа за сажень земли, а этот, что молчит в углу, самый опасный, у него слово редкое, да твёрдое. Тогда это была игра, упражнение для памяти — различать лица, запоминать роды, кто с кем в родстве, кто кому должен. Теперь это не игра. Теперь перед ним стоит живой человек с воском на руках, и за его спиной — боярский род, который решил, что имеет право брать с чужого товара вдвое больше только потому, что товар проходит через его землю.

— Грамоты у тебя есть? — спрашивает он. — На пошлину старую, что отец платил?

— Нету грамот, княже, из роду в род так повелось, без бумаги...

— А у Домаша на пристань грамота есть?

Гостята мнётся, не знает, что ответить, и это молчание говорит само за себя: дело тёмное, где обычай против обычая, где ни у кого нет на руках ничего твёрже слова деда.

Александр чувствует, как внутри что-то подбирается, собирается в комок, похожий на то чувство, что бывает перед тем, как впервые сесть одному на необъезженного коня, — и боязно, и уже поздно отступать, раз решился подойти. Он мог бы сейчас отмахнуться, сказать: дело не княжье, разбирайтесь меж собой или ступайте к посаднику, — и никто бы не упрекнул его, обычное торговое дело, таких десяток на дню случается. Но что-то в этом Гостяте, в его воске на руках, в его бегающих от страха глазах, не даёт просто пройти мимо.

— Вот что, — говорит он наконец, и голос выходит тверже, чем он сам ожидал. — Пока грамот не видел ни твоих, ни боярских — слова на ветер не брошу ни тебе, ни Домашу. Погляжу, что на пристань писано, у кого какое право. Тогда и решу.

— А лабаз-то, княже...

— Пусть стоит покуда затворённым. Два дня тебе хватит обождать?

Гостята кивает часто-часто, не то соглашаясь, не то просто от испуга перед тем, что князь вообще снизошёл до ответа.

Александр отворачивается и идёт прочь, к коновязи, где дружинники уже отвязывают коней, и чувствует спиной, как смотрит ему вслед купец — с надеждой, смешанной с недоверием, какая бывает у человека, которому обещали многое, а дадут ли — бог весть. Он идёт

и думает не о Гостяте уже, а о том, что впервые за все эти годы некому будет шепнуть ему на ухо, прав он или нет, не придётся оборачиваться на Якуна в поисках одобрительного или хмурого взгляда. Решать придётся самому — и от этой мысли на душе одновременно и зябко, и странно, по-новому, легко.

Свеча оплывает в плошке, и воск стекает вниз тонкой жилкой, застывая на краю, как тот самый воск, что Александр видел на руках Гостяты. Он отгоняет эту мысль и придвигает ближе бересту и две пергаментные грамоты, добытые у писца из ларя, где хранится всё, что касается пристаней и мытных прав, — старьё, пожелтевшее, местами с проточенными мышью краями.

Грамота Домашева рода короткая, писана уставом, без затей: отец нынешнего Домаша в своё время выговорил себе право брать мыт с пристани у Волховского устья. Александр читает её дважды, водя пальцем по строкам, как учил его когда-то дьяк, — не спешить, не домысливать того, чего нет в буквах. И на второй раз видит то, чего не заметил сперва: грамота оговаривает сбор «с гостей заморских, иже товар свой мимо той пристани провозят», и ни словом не упоминает новгородских купцов, своих, доморощенных, каков есть Гостята.

Он откладывает грамоту, трёт глаза — свеча чадит, и дым щиплет веки, — и снова берёт бересту: это уже запись о прежних тяжбах, лет на пятнадцать назад, когда отец Гостяты судился с кем-то о той же пристани и выиграл, потому что судья тогда разобрал то же самое различие. Значит, дело не новое. Значит, Домаш не по праву, а по безнаказанности взял с Гостяты лишнее, зная, что прежний князь в такие дрязги не вникал, а посаднику не было до того дела — своя рука владыка, пока никто не жалуется громко.

Александр откидывается на лавке, и в голове всплывает стол в Переяславле, свечи погуще этой, отцов голос, негромкий, но такой, что хотелось вслушиваться в каждое слово, даже если оно не к тебе обращено. Отец тогда говорил не ему одному — боярам каким-то, что сидели напротив, — но Александр слушал из своего угла, как слушают сказку, которую боятся прервать вопросом.

— Сила без расчёта — что меч без ножен, — говорил отец. — Обрежешься прежде, чем ударишь. А расчёт без силы — пустое слово, на него и плюнуть не грех.

Александр тогда не очень понимал, о чём это, кивал просто из уважения. Теперь понимает яснее некуда. У него нет силы — ни дружины, которая встанет за него против целого боярского рода, ни веса в городе, который имел бы отец, проживи он здесь десять лет. У Александра есть четырнадцать лет от роду, горница, доставшаяся ему по наследству вместе с титулом, и вот эта береста с грамотой, в которой чёрным по белому писано, что Домаш берёт не своё.

Он долго сидит, глядя на огонёк свечи, и думает, что если выступить просто от своей воли — сказать Домашу «не моги брать с Гостяты лишку, потому что я, князь, так решил», — это будет глупость, недостойная даже отрока. Боярин усмехнётся в бороду, пошлёт за посадником, и тот напомнит князю, что город сам разбирает торговые дела, а княжье слово тут не указ, пока оно не подкреплено ничем, кроме молодого гонора. И будет прав, чёрт его дери, прав по всем обычаям, какие знает Новгород.

Но если он выйдет не от своего имени, а от имени этой самой грамоты, от старины, которую сам Домашев род когда-то признал и подписал, — тогда дело другое. Тогда это не князь мешается в торг по мальчишеской прихоти, а правда, писанная задолго до его рождения, против которой возразить нечем, кроме как сжечь грамоту, а сжечь её поздно — копия в ларе у владычного писца, и все это знают.

Александр улыбается уголком рта, впервые за весь вечер, и улыбка эта невесёлая, скорее похожая на ту, с какой садятся на необъезженного коня, зная, что сбросит, да деваться уже некуда. Он сворачивает бересту и грамоту вместе, перевязывает тонким шнурком и зовёт отрока, что дремлет за дверью горницы на лавке, свесив голову.

— Беги к владычному двору, — говорит он, — пусть завтра поутру на вечевом крыльце соберут тех, кто спорит о пристани у Волховского устья. Домаша Твердиславича покличь особо, да чтобы знал — дело разбирают при свидетелях, не тайком.

Отрок, ещё не до конца проснувшийся, хлопает глазами, но кивает и уходит, стуча босыми пятками по доскам сеней. Александр остаётся один при свече, слушая, как потрескивает фитиль, и чувствует, как внутри, рядом с прежней зябкостью, ворочается что-то новое — не страх уже, а то жёсткое спокойствие, с каким смотришь на дело, в котором ты не прав по силе, зато прав по бумаге, а бумага, если знать, как ею размахнуться, бывает острее меча.

Утро выдаётся сырым, с низким небом, похожим на дно перевёрнутого котла. Вечевое крыльцо ещё не просохло от ночного дождя, доски темны и скользки, и Александр, поднимаясь по ступеням, ставит ногу осторожно, чтобы не оступиться перед людьми — это было бы хуже всякого спора о мыте.

Собралось человек десять: писец с владычного двора, двое Гостятиных соседей-купцов, зеваки с торга, которые чуют свару носом раньше, чем она начнётся, и сам Домаш Твердиславич — впереди всех, широкий, как дверь в хлеву, с бородой, в которой сивого больше, чем чёрного, и с таким лицом, будто его позвали сюда по пустячному делу, а он снизошёл.

— Явился, стало быть, князь, — говорит Домаш, не кланяясь, только чуть наклонив голову, как кланяются не человеку, а обычаю. Голос у него хриплый, простуженный ещё по молодости в походах, и каждое слово он роняет тяжело, будто мешок с зерна скидывает. — Доброе дело. Погляди, рассуди, да и ступай с Богом, а мы своё заберём.

Александр чувствует, как под кожухом холодеет спина — не от утреннего промозглого воздуха, а от того, как спокойно, по-хозяйски этот человек говорит с ним, с князем, будто речь о телёнке на торгу, а не о суде.

— Пристань у Волховского устья искони Домашева рода, — продолжает боярин, обводя взглядом зевак, ищет у них подтверждения и, кажется, находит: кто-то кивает, кто-то переминается, не желая связываться. — Отец мой её держал, дед держал. И мыт с того, кто через неё товар возит, брать — наше право, а не милость. Гостята пусть платит, как все платят, либо лабаз пусть закрывает да ищет себе другую пристань, коли этой брезгует.

Он говорит это и смотрит на Александра так, как смотрят на подросшего щенка — вроде бы и вырос, а всё одно ни рыкнуть толком не может, ни куснуть.

Александр молчит долю мгновения дольше, чем следовало бы, и чувствует, как внутри что-то сжимается туже, чем узел на кушаке. Потом нагибается к мешочку у пояса, достаёт свёрнутую грамоту — старую, пожелтевшую, с печатью, оттиснутой ещё при деде нынешнего Домаша, — и разворачивает её на колене, благо под крыльцом сухо.

— Вот грамота, — говорит он, и голос у него от волнения чуть выше, чем хотелось бы, но он заставляет себя не частить. — Писана о пристани у Волховского устья. Тут сказано...

Он находит глазами нужную строку, которую перечитывал вчера при свече раз десять, и читает вслух, медленно, будто пробует каждое слово на вес:

— «А мыт имати с гостей заморских, иже товар свой чрез ту пристань возят, а с гостей новгородских мыта не имати». С заморских, — повторяет он и поднимает взгляд на Домаша. — Не с новгородских. Гостята Нездинич — новгородец, не варяг и не свей. Отец его тут торговал, и дед, поди, тоже. Какое ж тут твоё право, боярин, коли грамота иное говорит?

Над крыльцом повисает тишина, но ещё не та, что будет после — пока это тишина недоумения, как бывает, когда собака вдруг залает иначе, чем привыкли слышать. Домаш хмурится, и лицо его, дублёное ветрами и годами, становится жёстче.

— Грамота грамотой, — хрипит он, уже не так уверенно, скорее нащупывая почву, — а обычай обычаем. Кто ж нынче по старым бумагам судит? Прежний князь в такие дела не мешался, и правильно делал.

— Прежний князь, может, и не мешался, — отвечает Александр, и сам удивляется, как ровно это выходит, будто не он говорит, а кто-то спокойнее и старше внутри него подсказывает слова. — А я — князь нынешний, и грамота эта в ларе у владычного писца лежит, и я её читал не один. Коли хочешь спорить — спорь с бумагой, а не со мной.

Он сворачивает грамоту, не спеша, давая себе время, чтобы унять дрожь в пальцах, и, подняв голову, произносит то, что готовил всю ночь, слово за словом перебирая, как перебирают чётки:

— Мыт с Гостяты Нездинича брать по старине, как писано, — с заморских гостей, не с новгородских. Сверх того не брать, доколе не будет иной княжьей или вечевой воли. А будет воля — тогда и говорить станем заново.

Тишина, которая падает на крыльцо после этих слов, не похожа на ту, что бывает после согласия. Она похожа на тишину перед тем, как кто-то решает, бить или не бить — зеваки переглядываются, купцы-соседи Гостяты опускают глаза, будто боятся, что их заметят довольными, а сам Домаш стоит, тяжело дыша через нос, и смотрит на Александра так, как смотрят на вещь, которую переоценили — не в ту сторону, в какую хотелось бы.

Никто из князей, что сидели на новгородском столе до этого дня, не говорил с Домашем Твердиславичем таким тоном — коротким, сухим, без заискивания и без мальчишеской запальчивости. Александр и сам это чувствует, стоя на мокрых досках крыльца, с грамотой в руке и сердцем, которое колотится так, что, кажется, слышно соседям, — и понимает, что обратной дороги от этих слов уже нет, как нет её от брошенной в воду монеты.

Толпа ещё не расходится, когда Домаш Твердиславич трогается с места сам, без понукания, и это первое, что настораживает Александра сильнее любой угрозы. Боярин не идёт прочь, насупившись, как положено проигравшему, и не бросает через плечо обиженного слова — он идёт прямо к нему, тяжело ступая по мокрым доскам, и в этой походке нет ни обиды, ни покорства, только деловитая неспешность человека, который решил наконец присмотреться к делу, которым прежде пренебрегал.

Он останавливается в шаге, и впервые за всё это время Александр ловит на себе взгляд, лишённый прежнего снисхождения. Домаш смотрит не сверху, как смотрят на отрока, которого терпят ради его отца, а вдоль — как купец смотрит на лошадь, которую собирается купить и ещё не решил, за сколько.

— Грамоту читать умеешь, — произносит он, и хриплый голос его звучит так, будто горло всю жизнь полоскали дымом и крепким мёдом. — Не всякий посадник так разберёт, где заморский гость, а где свой, новгородский. Иной за всю жизнь в ларь владычный носу не сунет, а ты, гляжу, читал не один раз.

В этих словах нет похвалы, Александр слышит это сразу, хотя слуху его всего четырнадцатая зима. Похвала гладит, а это ощупывает — так ощупывают кошель, чтобы понять по звону, сколько в нём монет и каких.

— Отец учил, что слово без грамоты — пустой звон, — отвечает он коротко, не отводя взгляда, хотя смотреть Домашу в глаза труднее, чем читать перед крыльцом чужую бересту. — А грамоту, коли она есть, негоже прятать от того, кому по ней судить.

Домаш слушает, склонив бритую голову набок, и в этом движении столько же воинской привычки, сколько и крестьянской хитрости — так слушают не речь, а то, что за ней, выжидая, не дрогнет ли голос, не метнутся ли глаза. Александр чувствует этот взвешивающий взгляд кожей, будто его и вправду кладут на весы рядом с гирями, и заставляет себя стоять так же прямо, как стоял минуту назад перед всем Новгородом.

— Отец твой далеко, — говорит Домаш, и в хрипе его прорезается что-то похожее на усмешку, хотя борода скрывает, тронулись ли губы. — Во Владимире делами ворочает, сюда наездами. А ты тут, на подворье, один сидишь, за хлебом тянешься уже своей рукой. Это дело

доброе. Город таких любит — покуда они крепко держат, что им держать велено, и не суют руку туда, куда не звали.

Он произносит это легко, будто мимоходом, как бросают зерно курам, не глядя, клюнут или нет, но Александр успевает заметить, как цепко блестят глаза под тяжёлыми веками, и понимает: это не угроза, это уговор, предложенный заранее, прежде чем между ними случится настоящая ссора. Условие игры, высказанное вслух одним движением языка — держи своё, не трогай нашего, и мы с тобой поладим.

— Пристань я не трогал, — отвечает Александр, стараясь, чтобы голос вышел так же ровно, как минуту назад над крыльцом. — Я грамоту прочёл. Она моя, покуда я князь в Новгороде, и чужой она быть не может, будь то пристань твоя или Гостятина лавка.

Домаш хмыкает, коротко и глухо, не то одобрительно, не то предостерегающе, и переступает с ноги на ногу — броня на нём легонько звякает, напоминая, что перед Александром не просто говорливый старик, а воин, повидавший не одну сечу прежде, чем осесть в городе. Он ещё раз окидывает Александра взглядом, с головы до пояса, будто прикидывая рост деревца, которое со временем даст либо крепкий дуб, либо кривую сухостоину, годную разве на дрова.

— Поглядим, княже, поглядим, — говорит он уже тише, отступая на шаг, и в этом «поглядим» слышится не угроза и не покорность, а холодное терпение человека, привыкшего ждать годами там, где другие спешат. — Город — не отцова вотчина, тут всякую руку сперва пробуют на вес, а уж потом целуют али рубят.

Он поворачивается и уходит, не оглядываясь, тяжело переставляя ноги по мокрым доскам, и толпа на крыльце расступается перед ним так же покорно, как расступалась бы перед самим князем, — Александр замечает это и чувствует, как внутри что-то холодеет, будто он только что выиграл одну игру и тут же узнал, что начинается другая, куда более долгая.

Он смотрит вслед широкой спине боярина, обтянутой бронёй поверх кафтана, и понимает ясно, без сомнений, как понимают однажды и навсегда: сегодняшнее дело запомнится не как услуга, оказанная худому мужику с руками в воске. Оно запомнится как мерка — Домаш и такие, как он, станут теперь судить его по этой первой пробе, прикидывая, куда дотянется рука нового князя и где она остановится сама, не дожидаясь окрика. И от этой мысли внутри делается не страшно — страшно было вчера ночью, над грамотой, при свече, — а тяжело, тем особым весом, который ложится на плечи один раз и больше уже не снимается.

Александр не успевает дойти до конюшенного крыльца, как слышит сзади быстрые шаги — такие же, какими Гостята утром перебегал торг наперерез его коню. Он оборачивается: купец стоит в двух шагах, уже без той отчаянной бледности, что была на нём у коновязи, но всё так же сутулясь, будто извиняясь самим своим ростом.

— Княже, — говорит Гостята и кланяется в пояс, медленно, обстоятельно, как кланяются не по обязанности, а по сердцу. В руках у него корчажка, обвязанная чистой тряпицей, и от неё, даже сквозь холст, тянет густым запахом липового мёда. — Прими, Христа ради. Не корысти для, а из благодарности.

Александр смотрит на корчажку и чувствует неловкость, которой не было ни на крыльце, ни над грамотой при свече. Там он спорил с боярином, там нужно было одно: не дрогнуть голосом. Здесь — худой мужик с воском под ногтями стоит перед ним и держит в руках весь свой достаток, какой нашёлся дома, чтобы отдать князю.

— Себе я не возьму, — говорит он, и голос выходит твёрже, чем он сам от себя ожидал. — Я не за мёд разбирал грамоту, Гостята. Я за правду её разбирал.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.